

14

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

10.335 /
1978 / 4

1978-4

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 1978 4

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

114.738
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА	3
<u>ПОЭЗИЯ</u>	
ИВАН ТАРБА	8
ХУТА БЕРУЛАВА	65
ГУРАМ ПЕТРИАШВИЛИ	96
<u>ПРОЗА</u>	
ОТАР ЧХЕНДЗЕ. Ветер, которому нет имени. Роман.	12
<u>ОЧЕРК</u>	
ЗУРАБ РАТНАНИ. Президент республики	70
ИОНА АНДРОНОВ. Узник Заксенхаузена	79
<u>КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ</u>	
ГУРАМ АСАТИАНИ. Два этюда о мастерах: Алмазное слово Гоглы. Щедрая лоза Симона	103
ИЯ АДЕИШВИЛИ. Взыскательность большого художника	118

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Гиви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТКИН, Исидор КОЗАЕВ, Георгий ЛОМИДЗЕ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ.

Михаил МРЕВЛИШВИ. И. Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Эрманила ФЕИГНИ, Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

„ლიტერატურნია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)



— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი-პოლიტიკური ვეფხველი

ბათუმის 1957 წლის იანვარი № 4 აპრილი, 1978

ლიტერატურა

1500 ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ. Новые переводы 13

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ШОТА РЕВИШВИЛИ. «...Ценю грузинскую культуру, особенно литературу» 13

ИСКУССТВО

ДМИТРИЯ АЛЕКСИДЗЕ. Романтика театра 13

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ГЕОРГИИ ДОЛИДЗЕ. Новая жизнь «Дон Кихота» 14

НОВЫЕ КНИГИ

МЕРИ ХРИСТЕСАШВИЛИ. Портрет художника и гражданина 14

ГУРАМ КОРНАШВИЛИ. В чем же причина упадка античной цивилизации 14

АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» ХРОНИКА 14

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА 14

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются



НАШ АДРЕС:

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусства — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.



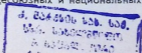
ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

14 апреля 1978 года — отныне эта дата будет навечно записана в летопись жизни грузинского народа, в историю Грузинской Советской Социалистической Республики. В этот день внеочередная восьмая сессия Верховного Совета республики единогласно приняла новую Конституцию — Конституцию Грузии эпохи развитого социализма, Конституцию Грузии, материально и духовно возрожденной к новой, счастливой жизни.

Основной закон, принятый лучшими сынами и дочерьми нашей республики, стал поистине воплощением и осуществлением воли всего народа — в обсуждении проекта Конституции приняли участие почти три миллиона человек — практически все взрослое население Грузии, в Конституционную комиссию поступило более 300 тысяч предложений и поправок.

Первый секретарь Центрального Комитета Компартии Грузии председатель Конституционной комиссии Э. А. Шеварднадзе в своем докладе на сессии отмечал, что «в процессе обсуждения граждане проявили высокий уровень политической сознательности, общенародный, государственный подход к делу».

Именно поэтому новая Конституция так полно и всесторонне отражает успехи Грузинской ССР за 57 лет Советской власти. Именно поэтому в ней воплотилась диалектика развития общесоюзных и национальных респуб-



ликанских начал нашей жизни. Именно поэтому новая Конституция выражает волю и жизненные интересы грузинского народа, всех народов, проживающих в республике, волю и жизненные интересы рабочего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции.

Конституция Грузинской ССР, принятая в апреле 1978 года, составлена по принципу преемственности советского конституционного строительства, она унаследовала многие важнейшие завоевания и установления трех предшествовавших Конституций — 1922, 1927, 1937 годов и, в то же время, творчески обогащая, конкретизируя и развивая их, привела Основной Закон республики в полное соответствие с действительностью развитого социализма.

Это и не могло быть иначе, так как каждая Конституция представляет собой концентрированное выражение своей эпохи, ее политических, социальных и общественных завоеваний. Советская Грузия нашей эпохи — это республика развитой современной индустрии и высокопродуктивного сельского хозяйства, республика передовых научных и культурных достижений. Это чистурский марганец и руставская сталь, тбилисские электропоезда и кутаисские грузовики, катера на подводных крыльях и реактивные самолеты, это аджарский чай, абхазские цитрусы, кахетинское вино, это прославленные на весь мир курорты и туристские трассы, это всемирно известные достижения в науке и искусстве.

Достаточно сказать, что общий объем промышленной продукции в республике за 57 лет вырос в 150 раз.

Все эти успехи и достижения завоеваны неустанным героическим трудом всех тружеников республики под руководством Коммунистической партии, добыты в братском союзе и единении всех советских народов, в первую очередь — в союзе и единении с великим русским народом.

Первая статья новой Конституции провозглашает: «Грузинская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей республики».

Расширение и углубление социалистической демократии, дальнейшее развитие демократических прин-

ципов формирования и работы Советов народных депутатов, усиление их роли в решении важнейших вопросов жизни общества — вот наиболее характерная и примечательная особенность новой Конституции.

«Величайшим завоеванием Октября, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев, — стало утверждение принципов социального равенства и справедливости... Каждый советский человек обладает всей полнотой прав и свобод, позволяющих ему принимать активное участие в политической жизни. Каждый советский человек имеет возможность выбрать жизненный путь соответственно своему призванию и способностям, быть полезным Отчизне, своему народу».

Каждая строка новой Конституции свидетельствует об этом. Новая Конституция республики обеспечивает трудящимся Грузии гарантированные права на труд, на отдых, на жилище, на материальное обеспечение в старости, на бесплатную медицинскую помощь, на образование... Сама Конституция является подлинным залогом и гарантом права советских людей на счастье, на мир, на прекрасное будущее грядущих поколений.

Новый Основной Закон Грузинской ССР содержит ряд новых, по сравнению с предыдущей Конституцией, глав, в том числе главу «Социальное развитие и культура». В статье 20-й этой главы говорится: «В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности».

Реальная забота о личности, о советском человеке — вот главная характерная черта и особенность новой Конституции. Это особенно ярко проявилось в ходе всенародного обсуждения проекта новой Конституции, которое проходило в духе подлинного демократизма, уважения к человеку и его потребностям, бережного отношения к национальным особенностям и историческим традициям каждого народа.

Выступая на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР, посвященной принятию новой Кон-

ституции СССР, Л. И. Брежнев говорил: «Социально-политическое единство советского народа вовсе не означает исчезновения национальных различий. Благодаря последовательному проведению ленинской национальной политики мы, построив социализм, одновременно — впервые в истории — успешно решили национальный вопрос. Нерушима дружба советских народов, в процессе коммунистического строительства неуклонно происходит их сближение, взаимное обогащение их духовной жизни. Но мы встали бы на опасный путь, если бы начали искусственно форсировать этот объективный процесс сближения наций. От этого настойчиво предостерегал В. И. Ленин, и от его заветов мы не отступим».

Именно этот ленинский принцип, которым постоянно руководствуется Коммунистическая партия Советского Союза и ее Центральный Комитет, возглавляемый верным ленинцем Л. И. Брежневым, лежит в основе тех разделов и статей новой Конституции Грузинской ССР, которые провозглашают и законодательно утверждают государственную заботу о новом расцвете грузинского языка, грузинской национальной культуры. Вместе с тем, с учетом особенностей многонационального состава населения республики, новая Конституция подчеркивает, что все языки и культуры народов, населяющих Грузинскую ССР, пользуются неограниченной возможностью для развития и прогресса, что любая дискриминация какого-либо из них является антиконституционной, противозаконной. Абхазский язык и национальная культура, осетинский язык и национальная культура, языки и культуры всех народов и национальностей Грузинской ССР равноправны и свободны в своем развитии.

В тексте новой Конституции подчеркнуто — и в докладе Э. А. Шеварднадзе этому было уделено специальное внимание — значение русского языка, русской культуры, братского союза с русским народом для всех народов нашей многонациональной страны.

О последовательном и неуклонном процессе дальнейшей демократизации всей социально-государственной структуры в нашей стране свидетельствует и тот факт, что в ходе всенародного обсуждения проекта новой Конституции были использованы и учтены все сред-

ства и каналы изучения широких масс общественности, в частности, впервые были проведены конкретно-социологические исследования по этому вопросу. И все серьезные, заслуживающие внимания предложения, замечания и дополнения были учтены Конституционной комиссией и, в дальнейшем, сессией Верховного Совета.

Грузинская литература всегда заинтересованно и горячо откликнулась на все жизненно важные события в жизни народа. Поэтому естественно и закономерно, что писатели Грузии сказали свое слово и в ходе обсуждения проекта новой Конституции: два их представителя выступили на внеочередной сессии Верховного Совета. Столь же естественно и закономерно, что наиболее пристальное внимание их привлекли те разделы и главы, которые касались развития творческих возможностей человека, прав и обязанностей граждан, вопросов культуры, художественного творчества, языка. И новые высокохудожественные и высокоиндейные произведения, проникнутые духом гражданской зрелости, станут ответом на ту огромную заботу и доверие, которые воплощены в новой Конституции нашей республики.

Конституция Советской Грузии начала свою жизнь — на благо советского народа, во имя советского человека. В ней не только зафиксированы все достижения и победы нашей республики, но и дана программа дальнейшего расцвета народного хозяйства и экономики, материального и духовного развития нашего народа. Всемерно способствовать ее проведению в жизнь и победоносному осуществлению — долг и обязанность каждого подлинного патриота Советской Грузии, каждого гражданина Грузинской Советской Социалистической Республики.

НОВЫЕ СТИХИ

Родная земля

Есть у меня простор для разворота,
Есть круг друзей, в котором я любим,
Земля моя, судьба моя, забота!
Мой отчий дом под сводом голубым.

Есть у меня далекие дороги,
Есть где-то люди, ждущие меня,
И есть кого мне встретить на пороге
Родного дома на исходе дня.

Земля моя! В тебе источник силы,
Я на тебе уверенно стою,
Земля моя! Ты сердце мне открыла,
Как я люблю родную ширь твою!

Люблю весны стремительные всходы,
Когда в твой грунт бросают семена,
Люблю живую летопись природы,
Наполненные мыслью письма.

Гляжу я вдаль — встает перед глазами
Твоих степей безудержный размах,
Твоих лесов зеленое вязанье
И солнца блеск на водных зеркалах.

Прислушаюсь — издали доходит
Гортанный говор горных родников...
Сияй же и красуйся на свободе,
Моя отчизна, мой родимый кров!

И не хочу я знать иного крова,
Я жить не смог бы в дальней стороне,
Родного дома не найти второго,
Повсюду было б неуютно мне.

И этот дом, где все друг другу братья,
Одной семьей сидят у очага,

Готов ценою жизни защищать я
От всякого пришедшего врага.

Земля родная! Ты живую душу
В меня вложила. Указала путь,
И никогда я клятву не нарушу,
Не захочу с пути того свернуть.

Земля моя! Тебе благодаренье,
Но чем могу я отдарить любя?
Прими же в дар мое стихотворенье,
Позволь всегда мне воспевать тебя.

Позволь любить, и если я достоин
Служить тебе, то всей своей судьбой.
Я твой слуга, я твой певец и воин
И счастлив связью кровною с тобой.

И если кто упреки в славословье
Пронесет, то я в ответ скажу:
«Моя хвала оправдана любовью,
И это я всей жизнью докажу!».

Перевод Марка РИХТЕРМАНА

Рыбы поднимались вверх

Грохочет речка, все каменья
Перестучав наперечет.
Ты руку окуни в кипенье,
И пальцы разом отсечет.

Меня коснулся гребня выступ,
Вода так бритвенно-остра,
Так обжигает пеной льдистой,
Что не согреться у костра.

И, как теперь себя ни кутай,
Застынешь, где заколдовал
Речной прохладой, служей лютой
Все тело обезжавший вал.

Склонись к быстробегущим водам,
Вновь, своенравна и легка,
Одарит речка мимоходом,
Окатит брызгами река...

Красуясь в белом ожерелье
И русла обломав изгиб,
Свистящей пулей мчится к цели
И роет заводи для рыб.

А солнце радостно роняло
Лучей горячие шелка,
Играли рыбы с тканью алой,
От счастья пеннлась река.

Шли рыбы по реке ледовой,
Шли вверх, ныряли в синеву
Спешили нангратся вдоволь,
Перевернувшись на плаву.

Шли вверх упругими прыжками
Течению наперекор,
Цепляясь, обтекая камень, —
Сквозь водопады, в область гор.

Тянулись цепью, вереницей,
Чтоб не заметил кто-нибудь...
А я боюсь пошевелиться,
Стремленье мерное спугнуть.

Как дивен замысел природы!
Тот бурный мир, что ей творим,
Дарует рыбам путь и воды,
Всю радость жизни дарит им.

Счастливый путь по этим водам!
Путь в гору — твой упорный бег,
Вернись же с тысячным приплодом,
Форель, царица горных рек!

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

Перед чтением романа О. Чхеидзе «Ветер, которому нет имени»

ГРУЗИНСКИЙ исторический роман имеет богатые традиции, воздействие которых четко прослеживается в творчестве нынешних мастеров этого жанра. Однако в последнее время налицо и ряд новых его качеств и, в первую очередь, особое увлечение психологией истории — не только психологическими причинами и результатами больших исторических событий, но и вообще внутренней, подспудной, психологической структурой национального бытия.

К ряду примечательных произведений сегодняшней грузинской прозы принадлежит и историческая повесть Отара Чхеидзе «Ветер, которому нет имени». Психология общества в ней исследуется в кризисный, переломный момент его жизни.

Грузинский народ в нашем столетии прошел немало таких испытаний. Особое значение в развитии его общественного сознания имели, в частности, события, последовавшие за революцией 1905 года. Уместно вспомнить, что годы реакции оставили роковой след в сознании грузинской интеллигенции, отразившись особенно остро в художественной литературе этого периода. Для многих выдающихся писателей они оказались в самом деле «испепеляющими». И последующее возрождение из этого непаля потребовало огромных духовных усилий.

Творчество Отара Чхеидзе отличает предельная художническая добросовестность к конкретному материалу произведения и вместе с тем — умение видеть в этой конкретности нечто долговременное, не прекращающееся в своем развитии, непреходящее. Так он, в частности, рисует национальные (в самом широком смысле) характеры и своеобразные коллизии той действительности, в которой они сформировались.

Произведение, предлагаемое вниманию читателей «Литературной Грузии», представляется нам одним из наиболее характерных в творчестве этого писателя.

ВЕТЕР, КОТОРОМУ НЕТ ИМЕНИ

● Роман

I

ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ говорили, что путешествия непременно связаны с приключениями, порой опасными, да и какой толк в путешествии без приключений. Путешествие, известно, исполнено впечатлений: какие там невзгоды когда все и вся наполняет впечатлениями душу человеческую. Путешествие развешивает грусть, — и это старо, — приносит пользу душе и телу или вначале телу, потом душе, все одно — путешествие развешивает грусть. Путешествие — дело, путешествие — цель и прочее, и прочее; в древности же о нем судили-рядили всяк на свой лад, определяли кому как заблагорассудится, по своему уму-разумению, с тем и ходили по греховодной жизни... Ходить-то люди ходили, но, видно, неодинаково жизнь разумели, оттого и возникали споры и стычки, и кровавые дожди лились, и что только не происходило: существе пустяки случайно оборачивались жестокими событиями; и удивительные путешествия начинались по воле случая. Такой уди-

Печатается с сокращениями.



вительной была круговерть судьбы Давида Гурамишвили* — не считайся он столько по земле, кто знает, может, не было бы теперь у нас «Давитиани»**. Одним словом, и путешественники бывали самые разные и путешественники. История Никуши тоже путешественная, та самая история, которую я сейчас вам расскажу. И она стара, хотя не настолько, чтобы упоминать о ней наряду с историей путешествий великих мореплавателей, Колумба, скажем, или Васко да Гама, нет, не настолько она стара, в придачу ему и в голову не могла прийти мысль, что путешественные у него на роду написано, и конечно же, не знал он к чему приведет его намерение или желание, на чьей судьбе как отразится. — этого он не знал, не ведал. Многого он не знал, не понимал, понимал только музыку, понимал и любил и считал это достоянием грузом для одного человека. Так вот, он понимал музыку и вознамерился собрать народные песни в Картли. Всего и делов.

Вознамерился и — в дорогу, только что из этого получится, он думать не думал и ни с кем ни в какие споры не вступал, а то уже в пути и спорного, будь здоров, выщется, и напасть; и себя он проклинает и день своего рождения или крещения, и о том подумает, что поздно уже себе локти кусать. Впрочем, нет: затеплится, зазвучит в чувствительной душе его оперная ария, что-то вроде «Поздно уж, поздно!», когда надо бы локти кусать... Ну да ладно... Вот расскажу, расскажу я вам о путешествии, исполненном бедствий, хотя оно ничем вроде не угрожало, а сам путешественник был искренний, простодушный, сердечный, воспитанный молодой человек, душа нараспашку, друзьям поверитель, незнакомым слушатель.

Да, никаких признаков опасности не таило намерение, и никакой беды не стряслось с ним по дороге из Тбилиси до Гори, ничего, совершенно ничего не произошло...

Иначе и быть не могло, намерение-то благородное, юноша благородный, добродетельный, нежный. (Так скорее говорят о женщине, но и о музыканте тоже, музыка совершенствует не только душу, но, оказывается, и тело). И ни с чем он не столкнулся и ничего особого не ждал, нет, конечно же, нет (я о приключениях говорю), а то песен он ждал не одну, не две — множество, дотоле неизвестных, незнакомых мелодий.

Он стремился к ним, да так — даже горийского вокзала не запомнил, не запомнил, у кого спросил, где найти фазтон, кто его проводил до фазтона или кто ехал с ним до Горийской крепости; и сама крепость ему не запомнилась, то ли не заметил, то ли равнодушно скользнул взглядом и по крепости, и по базару, и по людям, одним словом, по всему и всл, ничего не видел, ничего не запомнил, нечто иное волновало его душу, он стремился к некому всем своим существом. Да, спешил он, спешил.

Трусилы кони, раскачивало фазтон, и бежала следом пыль, знойная августовская пыль. Она увязалась за ними еще в Гори, на единственной мощеной улице, стала расти в самом го-

* Великий грузинский поэт XVIII века.
 ** Произведение Давида Гурамишвили.

роде, а уж на деревенских проселках ничего нельзя было различить, кроме сплошного пыльного марева. Пыль с закрученными хвостом натилась по самой земле, непроницаемая, обитая в ком, удручливая, витая-перевитая, рассеивалась, распутывалась пушистым облаком и вверху блестела на солнце. Дай бог выдержать. Если это и не было опасностью, то опасное в ней таилось: дышать трудно, глаз не открыть. Пыль царапала горло, набилась в карманы, проникла за пазуху, он весь запылился, оброс пылью. Отряхнуть ее было невозможно, музыкант словно превратился в ком, снежный ком, скатившийся с горы, который становится все толще, плотней, больше, раздувается и, вначале величиной с кулак, падает на равнину величиной с самую гору. Ему, может, тем же грозила пыль, пыль с ветром грозила раздуть до размеров горы, пока удастся достигнуть Хевтиси. Так оно и случится, если не покатылся фазгон быстрее, не прибавят лошади шагу и не станет подгонять их кучер: так оно и случится, потому как он не мог велеть ехать быстрее. — Пыль набьется в рот — задохнуться недолго; в опасностей уже не будет никаких, ничего не будет. Но и хуже этого быть не могло, и крикнул путешественник: «Останови!» И лошади остановились, но пыль еще долго окутывала их, толстая, скрученная, непроницаемая пыль, окутывала, не покидала, не желала отстать, но все же развевалась, хотела того или нет, растянулась шкряв и внос, затрепыхалась, извивалась, устремилась вверх, словно оторвавшись однажды от земли, потеряла интерес к земле. Все равно покроет она землю, расстелится по ней, но пока бы она осела, путник заметил яву, то ли заметил, то ли она ему привиделась, заметил и ручей, ручей в колышавшейся запыленной траве, заметил и своим глазам не поверил, решил, что померещилось, все же приблизился крадучись, осторожно и нагнулся резко, ткнулся рукой в воду, самую настоящую воду — рука дамскла. Он обрадовал себя торопливо, плеснул в глаза, плеснул в уши — «спасись-то я спасся, да как бы не ослеп, не оглох». И черпал воду ладонями, плескал себе в лицо, стали уши слышать, стали глаза видеть, и музыкант вздрогнул, застыл в неподвижности — в воде поперек течения, запрудив ручей, валялся человек. Носки его ботинок упирались в самый нос путника или точнее путник чуть не ткнулся носом в его ботинки, когда ослепленно плескал себе в лицо водой. Что и говорить, ужасное зрелище предстало его глазам, поразительно, как с ним на месте не случился разрыв сердца... Случился бы, хорошо еще он был не один, с ним был кучер, который и внимания ни на что не обратил, равнодушно взглянул на труп и равнодушно отвел глаза. Это его и спасло: взгляд кучера навел нашего путешественника на мысль, что, может, это и не труп, а обрубок дерева, очертаниями похожий на человека, — только это и спасло его от потрясения и мгновенной смерти.

Как бы там ни было, он спасся сам и его выручил, не обрубок дерева, конечно, человека, самого настоящего человека выручил, и невольно, непонятно, непостижимо ощутился в гуще приключений, запутался в странных, непонятных ему обстоятельствах. Вообще в путешествии это неотвратимо. (Вписался-таки наш герой в список путешественников, прилетелся

« длинному списку...). Долго уговаривал его кучер не вмешиваться в хлопотную историю: «собака от хромоты не околеет, кому добром за добро платили», — отговаривал, но не сумел, поскольку путник понял — и впрямь человек валлется в ручье, и поскольку понял — он пока еще дышит, проявил непривычную горячность и силу, дотащил до фаэтона еще живого или уже не жильца на этом свете, дотащил и втащил на сиденье, втащил, запрыгнул сам, и как истинный барин бросил: «Гони!».

Кучер погнал лошадей, точнее, причмокнул, и заворонилась пыль, закружилась, пошла, покатила, вперевалку. Так они ехали. Поспешность путешественника не заражала ни коней, ни их хозяина: знали они эту дорогу, поднаторели на ней, испытали и глубоко верили — если заразиться стремлением путешественника, непременно куда-нибудь свалиться. Они берегли себя — и кони и их хозяин. Так вот прусили кони, и безнала следом пыль, она окружала их, скручивалась, извивалась, вздымалась, тянулась вверх, все выше, трепыхалась и блестяла под горячим солнцем. Показывался фаэтон, скрипел, дзгал — вот-вот распадется; болтало фаэтон, болтало и пережившего какую-то опасность человека, болтало так, словно уже отошла душа, словно он мертв. И неудивительно, — рубашка на груди его была в крови и разорвана, один рукав оторван, на лице не разобрать, где нос, где глаза. борода растрепалась, смялась, и сквозь нее виднелись опухшие, окровавленные губы. Не мудрено, что путешественник был испуган — он полагал, что везет окоченевшее тело. И все же в глубине души теплилась надежда. Он хотел, желал спасти его, хотел прослыть избавителем, и это желание подогревало надежду. Образ спасителя всплывал в его сознании, перед мысленным взором возникал врач, и он думал о враче Хетерели, да, именно враче Хетерели, и которому ехал, письмо и которому лежало у него во внутреннем кармане. «Прими, будто меня принимаешь, поддержи, будто меня поддерживаешь», — писал Георгий Канчавели. В сумке лежали и другие письма, изрядное количество писем с просьбой помочь молодому человеку, облегчить ему осуществление благородной цели.

В середине деревни кони неожиданно ускорили шаг, горделиво загарацевали, словно таким же манером прошли весь путь, захрапели, лихо ворвались в ворота.

II

Воротами они назывались, потому как должны были быть воротами, а то одна створка на одной петле висела, скоморочилась, дорогу загородила — двум арбам не разминуться. Никто же удосужился водворить ее на место (чтобы не изнекнуд повод выматериться), вторую створку на месте раскромсали и ходили по ней, а часть кто-то унес, тоне ею покрыл. И забор разломали, груды напней валались на дороге и во дворе. Столетние ореховые деревья либо были срублены на корню, либо спорели, и стояли они опаленные, черные, обугленные. Двор был

захлавлен безбожно, цветник растоптан, кусты роз и сирени изодраны: от туевой аллеи не осталось и следа. Поругана была усадьба, и сам дом поруган, словно разграбили его, потом разрушили, истолкли, раскрошили.

Путник ничему не удивился — то ли ничего и не заметил, впрочем, он и не знал, как это место выглядело прежде, а если бы знал, не спросил бы, отчего такой разгром, не обратил бы внимания — он был поглощен иным, более значительным, и его не хватало на подробности. Мозг сверлила мысль о враче, ему нужен был врач, и он не думал ни о чем больше, ничего другого не видел. Потом, когда он встретится с врачом, возникнет у него вопрос — почему был нужен именно врач, и уж затем он увидит человека, попавшего в беду, хотя тот по-прежнему сидел или поклонился рядом, тем не менее выпал из памяти, остался вне поля зрения. Итак ему нужен был врач, но врач не показывался, раненый лежал неподвижно, и путник не знал, что предпринять. И кучер не думал приходить ему на помощь, слова не молвил, упрямо повернул лошадей, объехал разоренную усадьбу и остановился возле узкого длинного подъезда. Только он остановил лошадей, послышался крик. То был не просто крик, впрочем, разве крик бывает простым, что-то заставляло кричать человека — то ли боль, то ли необходимость в срочной помощи, то ли что другое. Этот крик не походил на крик боли, ни на крик о помощи, он походил на угрозу, угроза приближалась, вот-вот вырвется из коридора, набросится и уничтожит фазтон вместе с лошадьми и людьми. Переживший беду или подступивший к вратам могилы едва шевельнулся, но глаз не открыл, как будто сильнее замурился, съжился насколько возможно, скрючился в углу.

Никуша всего этого не видел и на угрожающий крик не обратил внимания, он думал о враче, ему надо было встретиться с врачом, все остальное было для него чуждым, незначительным, бессмысленным. Ему нужен был врач, и врач вышел навстречу. Однако наш путешественник был далек от мысли, что перед ним именно врач. Не мудрено, встретивший был одет в простую синюю рубаху и брюки, на голове войлочная шапка, лицо загорелое, одно слово — крестьянин. Ничего примечательного на первый взгляд, но только на первый взгляд, если взглянуть повнимательней, на лице печать благородства и учености, если и глаза разглядеть, когда он вам в глаза посмотрит, нетрудно угадать в нем умного человека, но он не смотрел, а щурился, как близорукий или подслеповатый. Да, путник не принял его за врача, но слава богу, кто-то его встретил и если ему было что сказать, следовало сказать именно встретившему, и он сказал:

— Мне нужен врач...

— К вашим услугам... — ответил мужчина.

— Элизбар Хетарели?!

— Это я.

— Я от господина Георгил, господина Георгил Канчавели...

И тут задребезжали окна, в доме кто-то кричал или что-то гудело, кто-то то ли успокаивал, то ли смеялся от души.

— Пожалуйте! — охотно пригласил врач и протянул руку: «зачем церемониться, докторализуйтесь» — означал его жест.

— А этот, — забеспокоился путешественник, — прежде всего он нуждается в уходе.

— Заходите... — отрезал врач. «Сам знаю свое дело».

И путешественник вышел с фаятона, сошел успокоенный, с чувством исполненного долга, как человек, который сам испытал опасность или пережил ее. И в самом деле, чего больше — этого было достаточно вполне, чтобы хвастаться по возвращении в Тбилиси, но увы, не суждено было похвастаться. Впрочем, откуда он мог знать о том... Итак, он поднялся по ступенькам лестницы, не обернулся, не взглянул в сторону фаятона, поднялся на балкон, там, на балконе, встретили его двое: женщина и мужчина. Мужчина прозный, суров, как говорят, такой же надуленный и собранный; женщина с доброй улыбкой, готовая к радушному гостеприимству, они приковали его внимание и взгляд, несколько смутнили и всполошили одновременно, потому как он не знал, чем ответить ни на эту добрую улыбку, ни на его грозное выражение лица, не знал и вновь прибегнул к имени Георгия Канчавели.

— Пожалуйте, пожалуйста, — вежливо пригласила женщина, словно хотела сказать: «нам уже все известно и мы вам рады».

— А этот откуда? — спросил грозный мужчина, и молнии сверкнули в его глазах.

Путешественник смеялся, мальком взглянул на свои пожитки, не понимал, о ком его спрашивают.

Женщина рассмеялась:

— Ему показалось, что с вами приехал Лео Таташели, — пояснила она, усмехнулась, прибавила: — Пожалуйте, пожалуйста.

...Гость представился, представились и хозяева: «брат Элизбара Хетерели, Шалва Хетерели, точнее, Элизбар мой брат, ибо я старший; моя невестка Такла, жена Элизбара. (Представились, понятно, и гостиницей). В комнате стояли два кресла, тахта, покрытая недорогим ковром, несколько плетеных стульев (часть которых вынесли из спальни, чтобы дать отдохнуть гостю, и занести обратно), стоял также стол, ломберный стол, единственная дорогая и прекрасная вещь...

Шалва открыл табакерку и предложил гостю папиросу.

— Нет, благодарю, не курю, — отказался гость.

— И вина не пьете?

— Как вам сказать, не любитель!

— И женщины не любите?

— Что вы, что вы! — поешился путешественник или уже гость семьи Хетерели.

— Где ты в таком случае напоролся на Лео Таташели?!

— Какого Лео?!

— На этого пса, — Шалве самому понравилось сравнение Лео с псом, он неожиданно расхохотался и также неожиданно умолк. — Надеюсь, я ничем не обидел вас, уважаемый Николоз?

д. 2045606 б.б. б.б.
Моб. 4080288888
6 1373333

— Прошу прощения, земля не Николозом зовет.

— Вы сами изволили сказать, что вы Никуша, — удивился Шалва. — и следовательно, крещены Николозом, не так ли?

— Нет, по крещению я Эстатэ, но под этим именем никто не знает.

— Ну и ну! — недоуменно пожал плечами Шалва Хетарели. — Впрочем, не все ли равно, вы не обиделись, уважаемый Никуша, — повторил он и, уже не дожидаясь ответа, прибавил: — Если иногда не заставить себя посмеяться, горе подточит, горе-червь, незримый червь, так подточит, и не поймешь, в один прекрасный день вздохнем разок, на том и кончимся, были мы и нет нас, и тужи от нас не останется, на том и кончимся...

Говоря это, он тихо смирился напустить на себя грустный вид, лицо его раскраснелось, возбудилось, и глаза загорелись, и конечно же, столь распаленному лицу не придашь грустного вида. Будь гость понаблюдательней, он бы догадался, что хозяин пьян, будь он прозорливей, мог заключить большее — голос у Хетарели был властный, повелительный, даже эти грустные слова звучали как приказ, по всему было видно, что он привык командовать. Так оно, в сущности, и было. Прежде Шалва Хетарели служил в царской армии, в командном составе, разумеется... Впрочем, гостю не было до него никакого дела. Он ждал Элизбара, чтобы передать ему записку Георгия Канчавели, остальное не имело для него ровно никакого значения.

Шалва Хетарели, словно разгадав его мысли, нахмурился и с некоторым вызовом в голосе спросил:

— Он твой старый друг или вы недавно сдружились?

— Кто он?! Он?! — растерялся гость и уставился на женщину, словно просил у нее помощи.

— Это, верно, был другой, не Лeko. — не замедлила ответить женщина.

— «Не Лeko», — передразнил деверь, — я его вареного узнаю... а не плохо было бы его сварить или на вертел... Ха, ха, ха... — ему снова понравились свои слова, и снова смеялся он один.

Пусть смеется, смех лучше гнева, во всяком случае, гость предпочитал смех, пусть даже неуместный, шутку, но смех длился недолго, снова шевельнулся на Шалву Хетарели, он никак не мог забыть того человека, смотрел на гостя, вспоминая того, но не мог вспомнить, скажем, равнодушно, спокойно или же с удовольствием, потому как именно по его милости попал в глупое положение, и не когда-то, а всего часа два назад. Если бы давно, еще куда ни шло, он бы забыл за давностью или вспоминал с улыбкой; старая рана, говорят, не проветочит. Эта рана была свежей, новехонькой: нынешним утром пришел к нему степенный на вид мужчина из тех, на кого можно положиться, и представился, назвалсЯ Лeko Таташели. «Я, говорю, тебя хорошо помню, должно быть, и ты меня поминишь, коли я старше, но младшие лучше запоминают старших, старшие тоже запоминают младших, если не очень постарели, не одряхлела память. От меня старость не так уж и далека, однако на память не жалуюсь и детство твое хорошо помню, и от отца твоего много добра видел, мне и хотелось как-нибудь тебя

уважить, немного развлечь, знаю нрав Элизбара — ему не до тебя. На какие-то два дня ты в деревню приехал, и, если кто не поддержит, одолеет тебя тоска». Говорил он складно, елеиным, бархатым голосом. Голос — голосом — он словно в душу ему смогнул, угадал его мысли. Вот и не смог Шалва отмахнуться, поддался, даже улыбнулся в ответ. «Болашвили пристали, — продолжал прищелец, — только Шалау Хетэрели к нам в гости приведи, мы на тебя как на икону молились будем. Не побрезгуй, семья у них добрая, состоятельная, не побрезгуй, скромность украшает человека, покойный отец твой тоже своей скромностью славился...».

Он еще и покойного отца упомянул, и пошел Шалва с ним. Пришли юны в гости к Болашвили, а там их никто и не ждал — не до них было в разгар обмолота, но куда денешься от обычаев гостеприимства: тотчас накрыли стол, развеселились и гостей развеселяли, но то и дело с сожалением поглядывали на небо — отличная погода пропала. Ведро еще будет, утешал Лемо. Он болтал без конца, пел, танцевал, не переставая убеждать, что, пока живешь, надо веселиться. Потом словно бес в него вселился: вошла молодая невестка семьи с пирогом, и вселился в Лемо бес, заладил его пальцами, скрутил их, свел уродливо, и вот этими скрученными пальцами он изобрелся на молодую и ушарнул ее за грудь, да так, что ее вопль аж небеса потряс. Тут двое Болашвили позабыли о гостеприимстве, схватили гостя за шиворот и мигом выволокли из дому, отвели подальше за деревню, молча, пальцем не тронули, ну а там, за деревней... Нет, Шалва Хетэрели не знает, что произошло за деревней, он остался сидеть в доме с поникшей головой, сидел за столом окаменевший, ему казалось, что он и в самом деле окаменел, онемчался, испустил дух; все же услышал, как вернулись разъяренные мужчины, как старший Болашвили упрекнул: неужели он, Шалва Хетэрели, не нашел себе другого товарища, раз уж ему захотелось у них погостить. Незнамо унизился ли оскорбленный перенкил Шалва на своем веку, но такого еще не бывало. Он ныкнуть не смел, сидел, проглотив язык, только вернувшись домой, когда коляска остановилась у входа в людскую, дал волю своим чувствам, разорался, кричал, что убьет, изрубит его на куски. Прежде на стенах висели козры, на козрах — оружие, испытанное во многих боях оружие, было и трофейное, не тут, там, в большой зале, теперь уже его и там не было, а тут тем более, и зря он шарил руками по стенам, ломал пальцы в ярости...

Это тогда, часа два назад, сейчас он уже не ломает пальца, но горечь не прошла... Он умолял на миг, и Тамла воспользовалась случаем, перевела разговор.

— Как поживает господин Георгий, нового ничего не пишет? — спросила она с приятным блеском в глазах, хотя они тут же потускнели. — Я от всего оторвана...

III

Когда Элизбар вошел в комнату, он уже не щурился. Он был в панике, на лице появилось иное выражение, хотя одет он был по-прежнему. Человек с известной степенью воображе-

они мог бы представить его в белом халате, и перед ним оказался бы врач, врач и стоял в комнате, разумеется, но гость уже не спрашивал о больном, кончился о нем разговор для Никуши, возможно, он и не вспомнил бы о нем больше. Не поинял он и того, что всем своим видом давал понять врач: «Не беспокойтесь, с больным все в порядке», и вместе с тем было в его облике нечто от человека, который стесняется, что его застанут за этим объяснением. Путешественник не придавал всему этому ровно никакого значения, он ждал Элизбара Хетерели безотносительно к его профессии, образованию, возрасту и потому не стал медлить, стоило ему войти, протянул письмо, хотя не забыл извиниться перед Тэклой за внезапно прерванную беседу. Впрочем, ее можно было продолжить, пока Элизбар прочитывал письмо, но нелегко продолжить принужденную беседу, какой-нибудь случай обрывает ее, и собеседники говорят обаяно: «слава тебе господи!», говорят, конечно же, про себя. Никуша этого не сказал, только у Тэклы промелькнуло в мыслях, и она поспешно вышла: «пускай поговорят мужчины, если им есть о чем поговорить, решают, если есть что решать».

— Две просьбы ко мне у Георгий, — сказал Элизбар, прочитав письмо.

— Да, — поддвинул гость, задумчиво улыбаясь.

— Первая — попытаться как-нибудь отговорить вас от вашего намерения.

— Почему? — вырвалось у гостя, и глаза у него сделались круглыми от удивления.

— Сам Георгий пытался, но, видно, не столь убедительно. «Может, он меня и не понял», — пишет Георгий.

— Не знаю, возможно.

— Он пишет, что вам свойственно увлекаться: неумное стремление вам свойственно к чему-либо, что упадет в душу.

— Уважаемый Георгий обо мне такого мнения!? — удивился гость.

— Я говорю, он так пишет.

— Благодарю, — поклонился гость.

— Просит убедить, что сейчас не время для такого рода путешествий.

— Почему? — гость вышел из блаженного оцепенения.

— Почему? — вопросом на вопрос ответил Элизбар. — Как прикажете вам объяснить — философскими и социологическими категориями или простыми, ясными, наглядными примерами?

— Как вам угодно, одно другому не мешает, — ответил он просто, словно не понимал, о чем речь, или это его несколько не интересовало, — позволю себе напомнить, и приехал с совершенно иной целью, иное меня интересует.

— Понятно, — вынул Элизбар и задумался, словно вспоминал что-то, — но сперва я должен выполнить первую просьбу — отговорить, — сказал он поспешно, — если не сумею, вторую — помочь вам.

— Но почему, почему вы меня должны отговаривать?! — как капризный ребенок воскликнул гость, и по выражению его лица стало ясно, что он не откажется, не изменит намеченной цели.

- Георгий меня просит.
- Мне он ничего не говорил!
- Опасное время...
- Заметил мельком.

— В Тбилиси это не столь очевидно, но здесь повсюду сталкиваешься с жестокостью.

— И это говорил... Но со мной ничего не приключилось, приехал мирно, с миром вернусь, вернусь с новыми записями. Записи заново известные песни, одно это будет знаменательным явлением, и, что главное, верю, открою доселе неизвестные новые мелодии, открою! — он начал просто и спокойно, все более и более возбуждался, давал выход своему возбуждению, но Элизбар попридержал гостя:

— Пусть успокоится мир.

— Ничего со мной не приключится.

— Вы привезли немилосердно избитого человека!

— Чистая случайность...

— Случайностей не оберешься.

— Мне они не грозят...

— Нет, грозят... — упрямо уставился на него Элизбар, будто хотел сломить одним взглядом, под стеклами пенсне загорелся взгляд, — не надо всякой причины, чтоб получить пулю в лоб.

— Не пугайте, — гость слегка махнул рукой, словно лишней раз давал понять, что его не стоит пугать, — страх не средство убеждения, — прибавил он вслух, — во всяком случае для меня.

— Я не путаю, объясняю, — Элизбар отвел глаза и понизил голос, — как вам будет угодно, только хочу вам сказать: по ту и эту сторону Междурды, по ту и эту сторону малой Лиахвы, от низины и вплоть до гор деревень нет, общины нет, наверное, и семьи не найдется, чтобы протянуть вам руку помощи. За примером и не надо далеко ходить — немало я сделал добра безвозмездно, с охотой, бескорыстно лечил встречного-поперечного, тем не менее — чуть опдалось от своего дома, очни снимаю, иначе злая душа оба глаза мне пулей пробьет.

— Это уже похоже на болезнь, а не просто страх, — успешно вставил гость, — простите, что я так говорю, но вы столь настойчиво стараетесь вселить в меня страх, что можете одолеть, коли не воспротивлюсь.

— Что ж, стойте на своем, — еще неохотнее проговорил Элизбар, — но в одном последуйте моему совету — снимите ваш бант, снимите, иначе он послужит отличной мишенью.

Гость, невольно вздрогнул, обеими руками прикрыл шею: то ли представил пробитое пулей свое горло, то ли больше пули боялся расстаться с бантом, трудно сказать. Элизбар бросил на него быстрый, непристальный взгляд.

— Вы не сумеете меня убедить, — холодно повторил гость и опустил руку.

— И не надо, снимите все же, — он поднялся, приблизился, — позвольте! — отвернул на нем воротник пиджака, отвязал бант, — И этой накрахмаленной рубашки не надо, я

дам вам синюю блузу или черную, чем поношеннее, тем лучше, оставайтесь у меня, словно вы мой помощник... Впрочем, ладно... Раз вы выставляете...

Это внезапное согласие ничуть не обрадовало гостя, он вроде обиделся, несколько даже растерялся, не понял, почему надо снять бант и надеть синюю или черную рубашку «чем поношеннее, тем лучше». Если хозяин напуган, ему-то что, почему и он должен отдаться во власть беспричинного страха? Георгий Канчавели думал иначе: «если Элизбар Хетерели тебя поддержит, ни о чем не беспокойся». Поддержал, нечего сказать! Какая же это поддержка, нет, он не может довериться такому покровителю, ясно, очевидно, но почему уверял его Канчавели. «Лучше всех знает те края он, Хетерели, если у кого и сохранилось еще какое-либо влияние, больше всех у него, Хетерели, если кому поверят больше других, ему». Лучшей характеристикой не пожелать человеку, но, видно, и великие люди ошибаются, только потому, наверное, и остаются они великими людьми, наверное, потому: он и к другим послал с ним письма — случись, не оправдается надежда, другие-то не подведут. Нет, великие люди не ошибаются, им присуща осторожность, все предвидят и предупреждают. Судите сами — не этот испуганный хозяин, так другие окажут помощь нашему путешественнику, что же до проводника или наставника, никто ему и не нужен — он ведь собственноручно составил карту Внутренней Картли, свою карту, обозначил на ней села и владения Меджуды, Лиахвы, Фрони и берега Куры, и столбовые дороги перенос с большой карты, и о том узнал, где аробная дорога проходит (через все деревни проходила аробная дорога, испрепен был край аробными дорогами и тропами), увидел тропу и пошел, иди прямо, как по струне, ни шагу в сторону, у рек замешкаешься несколько — препрадят реки путь, оборзут прямую, но не цепляйся за прямую, найди мелководье, мелководий в равнинной реке не перечесть, вообще не бывает реки без мелководья, только надо знать, где, как способной иди, а не знаешь броду — не суйся в воду; сама низинь — большая река, что в змре — человек, но и он — река и если не найдешь к душе его брода, ни в какую к нему не подступишься — ни правдой, ни кривдой.

Брод через реку жизни для Элизбара Хетерели — страх, видно, впрочем, нет, страх — скорее водопад, но узкие места имеют и водопады, они хороши для мостов, а мост лучше всякого брода; возможно, это нечто вроде дурацкого афоризма, но никуда не денешься, мост куда лучше брода. И он проломит мост по этой теснине, убедит, что сумеет обойтись без него. Элизбар Хетерели, легко убедит. И путешественник расстелил на лонберном столике свою карту, положил рядом книгу писем. Провел карандашом по линии Меджуды. «Вы не волнуйтесь и обо мне не беспокойтесь», — его жест был выразительнее слов...

Будь наш путешественник понаблюдательней, он бы понял, какой внимательный слушатель у него появился: Шалва Хетерели стоял у него над головой, уставившись в карту. Должно быть, вошел на цыпочках, а может, и нет, не имело значения, гость все равно ничего бы не услышал, раз уж задумал



кого-то убедить и заворовать, он бы и не взглянул в сторону другого лица, а хотя бы взглянул, не увидел: один-единственный человек маячил у него перед глазами, и в мыслях Шалва был устроен иначе, чем брат: безобидная карта путешествия молодого музыканта, неумело, аллювато расчерченный клочок бумаги сразу же представился ему выдающимся стратегическим планом, испытанный глаз его быстро разобрался в обстановке, и он живо перенес на поле битвы красно-синие и прочего цвета лозаные кривые, перенес на долину Внутренней Картли. Он вообразил, что стоит на пригорках Эредви, Тбети или же Ломвеса и со своего командного пункта следит за передвижением войск, отдает приказы, направляет главный удар: он уже осадил и взял Горы, расчищены холмы и долины Картли, все подготовлено для перехода Колхского войска. Потом события развернутся во всю ширь: они наметят план похода на Тбилиси, понадобятся новые карты, но пока тут, на этой долине, расположится большое, непобедимое войско, призванное защитить добро, справедливость, право народа. Нет, это не простая карта, и этот молодой человек не так уже рассеян и наивен, каким казался на первый взгляд, задумано нечто великое, но скрывают, даже от него скрывают — только он вошел, замолчал, словно ничего особого не происходило. Ну этот, допустим, не знаком с ним, а что случилось с Элизбаром, неуверенно мир так возвратился, так опешел — уже и брат брату не доверяет?! Что случилось с Элизбаром, чего он уставился на этот бант, почему ведет себя так, словно заявился к нему какой-то назойливый юнец и он не знает, как от него отделаться. А может, бант нечто вроде пароля. Но не надо торопиться, не надо, лучше помолчать, возможно, благодаря этому банту он поймет, довериться или нет этому внезапно и странно объявившемуся юнцу? Нельзя торопиться, пусть они молчат, пусть поймут друг друга, разгадают, прежде чем поговорить окроковенно, а между тем Шалва Хетзерели, попробует определить, откуда начать продвижение войск. Войска у него нет, нет войска, готового к походу, но он кликнет клич, и соберутся под знаменем рыскающие по лесам и горам люди. Какую дорогу выбирать, какая наиболее удобна. Сады, виноградники и роши — хорошее укрытие, но можно обойтись и без них. Народ уже в поле, обмолот в разгаре, ходит по кругу молотильная доска еще не осела снопы, еще и поля не убраны полностью, только собирают копы, если омынуть взглядом неорошаемые земли, если взглянуть на желтеющие жнивья, они полны смущающих, суеятящихся теней, множатся, множатся тени, множатся и превращаются в войско, неожиданно, как из-под земли поднимется войско. Да и тут, на карте, линии по неорошаемой земле проходит, тут же белое пятно — главный лагерь, и лихские переходы, видно, хорошо знаком ему этот край. Отлично он все предусмотрел. И посредника превосходного подобрал, ловкий же, однако, юноша, народные, говорит, песни собирать приехал, га!

Молчание длилось, Шалва определил то, что в первую очередь, требовалось определить, теперь надо было выслушать наставления и советы, надо было уточнить, принять их или отвергнуть, время не ждало, оно не ждало и прежде, тем бо-

Все сейчас, раз началось, нельзя менять. Молчание затянулось — какого дьявола он устоял на этот лоскут черного шелка? А может, что вышито на нем, тайные знаки как-нибудь? Шалва грозным взглядом посмотрел на брата, подмигнул даже, нетерпеливо, змурясь.

Элибар обернулся к гостю:

— Давненько Георгий не заезжал в наши края, — с сожалением проговорил он, — верно, Тбилиси давно не покидал, и весьма вероятно, некоторые вещи не вполне ясно ему представляются. Многого изменилось, многое чли, прямо скажем, все изменилось. Из писем Георгия и половины не удастся вручить адресатам. Вас встретят либо немощные старушки, либо вовсе не впускают в дом, либо никакой помощи не окажут. Тут, тут, тут, — он ткнул пальцем в точки, обозначенные на карте, — ничего не осталось, кроме фундамента. — тут, тут, тут, тут и тут и даже тут — он снова и снова тыкал пальцами в точки, может, и встретят, но и гостя-то не смогут принять как положено... Тут и тут, и тут и еще в нескольких местах вроде бы по-прежнему теплится дух, но что это за дух. Словом, топчет их время, до песен ли?!

«До песен ли!» — Шалва сердито кашлянул. «Значит, отказывается, не соглашается», — он возмутился, весь покраснел, всохнул. Чуть быто не крикнул, что безрассудна эта излишняя осторожность, но тут же гордость, взяла верх, хетерелевская гордость заставила его промолчать. Он вышел.

IV

...Шалва разозлился, надумал, ходил как обиженный ребенок, но все же продолжал себя убеждать, что это все пустое, осторожничают, по нынешним временам осторожность крайне необходима, недаром говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. И мерили, и мерили... Какое у них мерило, хотелось бы знать, какова их мера — сутки, двое суток, недели? Бог весть. У Шалвы не хватит терпения, он сейчас войдет и... в лобовую — довольно воду мутить, выкладываете начистоту, каковы мои обязанности. Но они отправились спать, а он не ворвался, наступил себе на горло, чуть не задохнулся от злости... И вдруг успокоился как-то сразу, когда ему постелили постель рядом с постем: и это предусмотрено, пришла наконец пора откровення... Легли.

Со двора не слышалось ни звука, замерла деревня, одна липа невнятно шелестела листьями и смотрела в окно людской, бывшей людской, в которой сейчас трое мужики должны были решиться на нечто великое, и этой минуте, как положено, должно было предшествовать великое молчание, с чего эта липа нудит, о чем шепчут листья липы. Может, и не липа, может, выследили и шепчутся шпикки. Шалва поднялся и выглянул во двор — решительно никого, луны и той не видно, закрыл окно. Шелест притих, перестала липа шептаться, маленькая комната наполнилась табачным дымом. Он курил одну папиро-

су за другой, табачным дымом дурманил нетерпеливое ожидание мига Великого Откровения. Гость кашлянул. «Теперь-то он наверняка встанет с постели и...» И Шалва кашлянул в ответ, давал понять, что готов слушать, приподнял голову, насторожил слух. Гость повернулся на другой бок и снова кашлянул, верно, запершило в горле от дыма, и заснул глубоким сном усталого человека.

Шалва Хетарели не знал, что и думать, решил сперва, что гость притворяется спящим. Ему все больше и больше нравился этот молодой человек, нравилась его сдержанность, манера рассуждать, его глубокая убежденность, только с такой верой и можно победить, с такой верой и отвагой; «люди, вроде моего брата, не то чтобы наладить, налаженное испортят, поставят с ног на голову, разрушат, снесут, они, и победив, едутся на милость побежденному». Знает он своего брата, и ему подобных, одно удивительно, каким образом Элизбар стал участником движения сопротивления, каким чудом обрел такое влияние и власть, что и посланцу из главного лагеря перечит, не подчиняется приказаньям, доказывает, что нужно действовать иначе?

Тут гость неожиданно захрипел, то ли зашелся в кашле, то ли задыхался, словно в объятиях чудища. Сдавило ему грудь горло, душит — он отбивается, хрипит; потом, верно, выскободился, откашлялся и вздохнул, перевел дух и некоторое время выяснял, где он, что с ним происходит, наконец, выяснил и увидел блуждающую красную точку: она опускалась с кровати, застыла, тускнела и разгоралась снова, сверкала, вот-вот посыпается искры, но дым окутывал их, дым норовил задуться готовый заискриться огнем, и вновь прорывалась горящая точка сквозь дымовую завесу и висела в воздухе, тускнела медленно и превращалась в пепел. Он, наконец разобрался, что к чему и робко сказал или, вернее, промямлил, пискнул робко — нельзя ли открыть окно.

«Почему бы и нет». — Шалва стремглаз соскочил с кровати. «Я сам». — поднялся гость. «Да что вы, что вы, доверьте это мне, не сомневайтесь, ничего от меня не ускользнет». — Шалва отырал окно, перекинулся через подоконник, окинул взглядом двор, прислушался, потом вышел на балкон, спустился вниз с величайшей осторожностью, обследовал двор и порогу, замер, прислушиваясь, постоял некоторое время, убедился, что спервня спала глубоким сном, все вокруг ушло в сон, остановилось время, и вода, говорят, вздремлет разок.

И листья заморгла, застыла. Комната проветрилась, гость отдышался и снова завалился спать. По-прежнему Шалва Хетарели не знал, что и думать, ему казалось, что юноша по-прежнему приниживается спящим, выжидает. Сейчас Шалва подойдет к нему, шепнет на ухо, то есть положит, что все в порядке, тишь да гладь кругом, и подошел, прошептал. Гость не шевельнулся, не услышал и не смог бы услышать, хоть у самого уха пали. Говорят, и вода вздремлет разок, и он вздремнул, и его сон одолел, но ему нельзя спать, сейчас нельзя, именно сейчас, Шалва решил было встряхнуть его, но раздумал. Прикрыл окно, двери и закурил папиросу, табачный дым мгновенно наполнил комнату, и самому стало трудно дышать. Вот и петух

закричал, в первый раз закричал... Ага, вот сейчас... Но ^{Баста} первого петуха ничего не значит, а до третьих петухов ^{Баста} еще далеко, пусть удушливым шепотом заполнится маленькая комната, гость или задохнется, или признается ему, время пока ждало... Гость писмуил было — нельзя ли приоткрыть? — Нельзя, — ответил Шалва Хетарели, и нотки обиды зазвучали в его голосе.

— Почему? — с трудом выдавил Никуша.

— Скажете вы мне или нет в конце концов...

— Да, да?!

— Скажете или нет?!

— Что именно я должен сказать?!

— Что поручил передать мне, лично мне, Георгий Канчавели?!

— Лично вам?! Не знаю, что он должен был передать?!

— Ничего?!

— Ничего. Если мне не изменяет память, кажется, Георгий говорил, что...

— Ну, ну!

— Говорил, что перебили сильный род Хетарели, что лишь некоторые уцелели, допели уйти за мордон, что застану я его только Элизара. Говорил, что, кажется, и его старший брат жив...

— Да, да, да!

— Но он где-то в Тбилиси, должно быть...

— Да-а-а-а... — протянул Шалва и придавил палец к край пепельницы. Встал, приоткрыл окно и остановился у открытого сква. Шумела липа, шелестела листвьями, шепталась в слова людской, раньше ему не доводилось слушать этот шепест, его комната была по ту сторону дома, далеко отсюда, там, где изрешетый балкон обвивала лоза; листвья лозы шелестали иначе, он уже и не помнил, как шелестит лоза, давным-давно и разложю понинул отчий дом, воспитывался в военных учебных заведениях России, служил в армии, воевал, помогал пороку, и стоял у него в ушах грохот. Шалва ушел в раздумьи: «Георгий догадался, видно, что брата Элизара надо разыскивать где-то в Тбилиси, и гостю только с Элизбаром поручил вести переговоры, он, Шалва, полагал Георгий, приедет тут позднее с чрезвычайным поручением, конечно же, с чрезвычайным, иное и в голову не могло никому прийти — с чрезвычайным поручением, то есть в качестве предводителя, командующего Внутренней Картли, а гость с Элизбаром между тем проведут подготовительную работу, соберут дшедших в леса, одним словом, приготовятся к его приезду, а он здесь, и поручение ли это Георгия Канчавели или кого из тех, кто прикрывается именем известного композитора, не имеет значения, чего же еще ждать?

Он тут и знает, Элизбар против, гм, против — пусть Элизбар изготовляет лекарства, побольше мазей приготовит, обучает сестер милосердия, остальным же распорядиться будет Шалва. Он не помнил, как шелестела лоза, не отличал от шелеста листвьев липы, не отличал и не слышал, свист пухля стоял у него в ушах, гром гремел, беспокойно было на сердце, и перерастало беспокойство в ярость. Да, он уже тут.



но пока человек чужой, пока ему никто не подчинится, надо попробовать, надо!

— Я тут, докладывайте! — повернувшись, приказал мандукошней.

— Я уже вам докладывал.. — пробормотал гость и отвернулся к стене.

— Вы Элизбару докладывали! — поправил Шалва.

— Да, верно, но все равно, господин Канчавели об одном только всех просят, содействовать мне. — Он головой зарылся в одеяло, не долго и задохнуться, все же зарылся, таким страшным казалось ему лицо, которого не было видно.

— Вслепую я никому не содействую, — донеслось до него приглушенно.

Музыкант высунул голову:

— Почему вслепую?..

— Если уж я вмешаюсь, все должно быть в моих руках

— Не знаю, что и сказать..

— В моих руках должны быть стратегический план, карта и ключ к шифру, расположение отрядов, численность войск, склады оружия, пути к средствам снабжения. Я должен держать непосредственную связь с главным штабом и иметь гарантию полной свободы действий. Таково мое условие, если у вас другие предложения, переговоры бессмысленны.

Гость присел, он и без того ничего не понимал, а темнота усугубляла его состояние, и он бессмысленно хлопал глазами, тщетно силясь разглядеть что-либо, догадаться по лицу, о чем речь. Увы, луна по-прежнему слабо светила в окно, бледный луч косо пересекал спину и затылок Шалвы Хетерели и, достигнув дальнего уголка маленькой комнаты, столбом поднимался вдоль стены; однако нашему путешественнику и этого света казалось недостаточным, чтобы разглядеть лицо, он все больше и больше верил, что по лицу поймет, к чему клонит Хетерели старший, но тот, как назло не трогался с места, стоял вытянувшись, как подобает военному в решительные минуты.

— Итак, либо вы принимаете мои условия, либо переговоры бессмысленны.

— Вы правы, переговоры бессмысленны, — тихо вскакал гость, с какой-то охотой повторил свой ответ и весело лег, закутавшись в одеяло и зарыв лицо в подушку. Причина столь опрометчивого его поведения можно выискать немало — не выспался, например, или мало приходилось путешествовать, но, главное, пожалуй, что те, кого он знал или с кем общался, походили друг на друга как две капли воды и усердно друг другу подражали, возможно, ему и не казалось, что они одинаковы, но он не вдавался в анализ характеров, не было в том потребности, да и не представлялось случая; и теперь, в чужом доме у незнакомых людей, в темноте в прилачу, он не понял своему ответу никакого значения, во всяком случае, он не увидел в нем никакой опасности для себя, и приходится удивляться, как его слова не были более дерзкими, слова неженки, которому не дают спать, но для Шалвы Хетерели они прозвучали более чем нескладно. Он подошел, сдернул с гостя одеяло, схватил за руку и стащил с кровати.

— Тогда почему вы затеяли переговоры?!

— Что вам от меня надо? — воскликнул гость с неодолимым страхом, обреченностью и вместе с тем с надеждой, что кто-то услышит и придет.

— Почему затеяли переговоры?

— Ничего не понимаю...

— Отступить уже поздно, вы все сказали, сказали, чтобы вызвать и подготовить меня, вот он, я. Я готов. Договаривайте же, а не выносите вносказаний, мне нужна ясность.

— Но ведь все ясно... господин Георгий...

— Да, да, что? Что господин Георгий?!

— Просит всех, всех, кто сможет, кто не пожалеет времени, посоветовать мне, указать, как и где найти неизвестные еще музыкальной обществу народные песни!

— Какие песни?!

— Народные песни.

— Что означает «народные песни»?!

— Это песни, которые созданы народом, народ совершает их в течение веков, передает из поколения в поколение. В них звучат горе и радость народная, они пронизательно передают его судьбу. Народные песни делятся на несколько групп. Одна из них, к примеру...

— Мальчишка! — взревел Шалва Хетерели и с силой встряхнул гостя. — Ты что за студента консерватории меня принимаешь или одеваешься?! Как ты смеешь!..

Съежил гость, вздумал было бежать, но понял, что не вырваться из цепких как клешни пальцев, и съежился.

— Но ведь вы спросили?! — прошептал он, втянул голову в плечи.

— Что спросил?!

— Что означают народные песни?

— Ну и что они означают?

Канин бы недостаточным ли был Никуша, он не посмел бы повторить то же самое, но ничего другого не приходило ему в голову, а что, собственно, могло прийти?! Он попал в странное положение, не знал, что предпринимать, боялся, как бы снова его не встряхнули, боялся не выдержать более и позвать на помощь боялся. А может, лучше позвать? Увы, поздно, раньше следовало звать, раньше, когда почувствовал, что задыхается от дыма... Впрочем, как бы и сейчас не опоздать.

Клешни стали ослабевать и разомкнулись вдруг. Отвернулась прозрачная тень, к нему отшла, на лицо упал блеклый свет, но тотчас же исчез, снова растворилось лицо во мраке. Гость уже позабыл о своем решении позвать на помощь, лишь бы этот призрак молчал или сказал что-нибудь, он уже не мог взять в толк, что лучше. Лучше всего, если удастся позвать, конечно же, заснуть глубоким сном, позабыть все и заснуть, но этот пристал в одну душу «народные песни, что значит «народные песни», а он ничего не может ответить, если даже распнут его, ничего не сможет сказать больше того, что знает, нет, ничего.

— Знаете, что?! — воскликнул он вдруг с радостью человека, сделавшего неожиданное открытие. — Вот я запрошу!

господина Георгия, разумею, может быть, и найдутся какие-либо дополнительные пояснения...

Шалва Хетарели повернул голову, повернул так, что лунный свет осветил половину лица. И увидел гость, как того звали, лицо презное и гневное, но то был гнев бессилья.

— Разумное предложение! — выпалило полуосвещенное лицо, полуосвещенное блеклой луной, — Я согласен, сообщайте. А между тем мы продолжим беседу только без окошечки, без инсказаний, откровенно. Что вы задумали, что намереваетесь предпринять, когда выступаете?

Лицо подалось вперед, загородило блеклым лунным светом, и воцарилась тьма. Остались тьма и путник, молодой музыкант, встревоженный и обеспокоенный: «Кажется, все яснее ясного, о чем еще говорить, и какое сейчас время разговору вести, и отчего он раньше не заговорил, коли столь горячий мой поборник, почему злится, что его злит...». Но времени на раздумья не осталось.

— Когда начинаете? — лицо надвигалось на него, приближалось к нему, резкая тень разрезала расплывчатый, мутный мрак.

— Завтра же, — бросил он, стараясь остановить движенье резкой тени. Это и в самом деле удалось, и тогда он забросил ее словами:

— Намерен применить два метода работы, господин Георгий знает об этом, ему нравится, он согласен; значит, два метода. Что это за методы; работы на местах и по вызову. Работа на местах означает, что я сам обойду или вы обойдете. Будет то сбмолот или любая другая крестьянская работа, храмовые праздники или любые другие развлечения, или плач, это тоже можно, конечно... Словом, обойдем и, что попадет, заглянем, там же на месте, в естественных условиях. Другой метод — работа по вызову. Вызовом отобранных нами певцов, которые по нашей просьбе, по нашему заказу исполнят то, что знают. У каждого из этих двух методов есть свои недостатки, но есть и свои достоинства. Скажу вам и о недостатках, и о достоинствах обоих методов, но смею уверить, что я согласен принять любой другой метод, любой другой совет, только бы не упустить малейший нюанс. Теперь, что касается недостатков и достоинств каждого метода в отдельности...

И снова тронулась резкая тень, грозное виденье, точнее, не тронулась, замахнулась словно топор, вот-вот опустится и разрубит его надвое, согнулся гость, скорчился, скрючился, но остановился топор на весу, слегка коснулся его лезвием и застыл...

— Я тебя предупреждал?!

— Предупреждал... — тикнул гость.

— Почему же чужь несешь?!

— Вы спрашивали... — решил он поднять голову, — спросили, и я объясняю подробно.

— Я приказал говорить ясно. — пуще прежнего разгневался Шалва, — будете или нет говорить внятно?! — несколько раз он повторил это грозное: «говорить внятно», и от громкого его голоса задрожала людка.

Кто знает, что бы произошло, не явля бы на помощь Элизбар (сначала донесся его голос, потом появился он сам).

— Что случилось, что здесь происходит?

— Вы должны сказать мне, — прикрикнул на него, — я терпеть не могу таинственности, слова и разговоры обманчивы, я должен знать все, вы должны подчиняться мне, если нет, я отказываюсь, и посмотрим, кого найдете опытнее, преданнее и самоотверженнее меня!

— Ты бредишь, — резко выговорил Элизбар, — это от дурных снов.

— Я не спал ни минуты...

— Тем хуже... Спи!

— Не буду, я должен знать!

— Спи, несчастный... — спокойно произнес Элизбар, спокойно, но с удивительной болью, с сожалением, беспомощностью, безнадежностью, охватывающей человека при виде несчастия другого. Человека, который сам немог, отвергнут, покинут Богом и людьми. Но вместе с тем таилась в словах Элизбара некая проникновенность, внушение опытного врача и любящего брата — надо успокоиться, всему виной недоразумение, и нелегко, пожалуй, невозможно в нем разобраться.

V

Слова не молчали Шалва Хетерели больше. Так прошла ночь. И день он провел в молчании, куска в рот не брал, не завтракал, не обедал, не выходил из дома, даже не вставал с постели, откинулся в подушку, не хотел никого ни видеть, ни слышать. И никто с ним не заговаривал, гость не смел, и невестка не заговаривала, брат — тот заговорил бы, но не дали, забрали с утра, с утра водили вверх и вниз, из одного конца в другой, по дальним и близким деревням, водили к больным, раненым, изуродованным, роженцам, припадочным и обреченным. Пока одному оказывает помощь, уже другой стоит над головой — молит пойти с ним, спасти: услужлив был и безотказен Элизбар, вот и водили его, денег не брал, вот и тянулись к нему, кто оставит в покое бескорыстного, безотказного? Никто. Власть и те его вызывали: заключенного вели в Горы, сбегая, выстрелили. Зовут врача. Он придет, нагнется над убитым, подтвердит — да стреляли: помер — не спасти — говорят, и соглашался Элизбар Хетерели — помер — не спасти. Он не умел упрямиться, никому не перечил, усерден был, предан делу, услужлив, покорен всем — и малому, и старому, заносчивому и скромному, твердому и мягкому, всем, и все обращался к нему за помощью, и он не отказывал. Для родных и близких времени не мог выкроить, с братом поговорить не смел. Под вечер вроде бы наступила передышка, и он направился домой, но дорогой нагнали его жители соседней деревни, сообщили, что стреляли в Чикондзе, и лежат где-то на проселке братья Дмитрий и Лало, «сходи, пожалей, будь человеком». О человечности ли, о сострадании ли ему было напоминать. Но напоминали, упрощали, да же те, кто сам сел бедствия и проливал безвинную кровь, уничтожал добро и само милосер-

дне: бесновались ободленные люди, и никакая сила не могла их умножить, ничто не могло разжалобить, и никто не пытался напомнить им о добре и сострадании, а вот Элизбару напоминали человеку, которому вовек не забыть добре, любви, состраданию, милосердию, вовек не изменить своей человеческой природе...

И остался покинутый братом и другом Шалва Хетерели, брошенный на произвол разгоряченных своих мыслей и воспаленного воображения. Он уже не ждал, злорада покинула его, ему даже нравились эти твердые мужчины, которые не посвящали его в свои планы, не признались, сбили с толку, пустили пыль в глаза. Нет, он-то не обманулся, ничуть не бывало, он еще живее представил себе истинное положение вещей и, представьте, смягчился, простил: в конце концов они правы, ибо не уполномочены вводить его в курс дела. Должно быть, сам Канчавели посвятит его в план действий, ведь говорил, что Шалва, то есть он, в Тбилиси, следовательно, сам решил поговорить, все ясно, конее ясно, Георгий Канчавели разыскивает Шалву, а он здесь, сидит в Хевтиси и ждет, почему они таятся. — кто лучше Георгия Канчавели все объяснит? Никто, никто и не признается ему, кроме Георгия, нет, надо ехать в Тбилиси, надо встретиться с ним... И под вечер Шалва оседлал хетерелевского коня в хетерелевском саду и поснакал в Гори, надеясь успеть к вечернему псеаду. Не успел, не судьба была... И Элизбар до полуночи не вернулся, не судьба была.

И Никуша не смог избежать своей участи, стоял и ждал, сидел и ждал, лежал и ждал Элизбара Хетерели, без него не мог и шагу ступить, не мог осуществить свои «методы», пойти к кому-либо или кого-либо пригласить, да и не в состоянии был, мысли прыгали с пятого на десятое и не находили выхода, и он ждал. Его пугала и та маленькая комната, где он ждал, людская, у единственного окна которой бормотали ветви листвы, бормотали с большей таинственностью, чем вчера. Не ветви его пугали, не таинственность, он бы и не смог вникнуть в таинство шелеста листвы, его только тревожило, что снова всплывет грозное видение, блекло освещенное лунным светом. Зря он тревожился, и этому не суждено было произойти, иное было ему суждено, иное должно было с ним приключиться.

...Элизбар пока не мог вернуться домой, и для него трудной была та ночь, горькой была, но пока он ничего не знал, хотя тут же стояли вестники горя, стояли и молчали в затруднении — не знали, как сообщить. Элизбар сам бы заподозрил недоброе, да только слухом был занят — пуля попала человеку в нос, истекал кровью, страдал безобидный крестьянин, безобидный, не террорист — крестьянин, по фамилии Джокхадзе, по имени Шагрия. У него была дочь, светлоская красавица, из-за нее все и произошло. Раде Вруджншвили и Мика Личели зашлились к Шагрия, выводи, приказывают, дочь. Как это, дочь — выводи, кровь бросилась в лицо добропорядочному человеку. Поглядите на него, еще и отказывается! — набросились они на крестьянина и давай колотить, рукояткой револьвера разбили голову, потом выстрелили, пьяные были, и вместо виска выстрелили в нос. Хорошо, что пьяные, иначе прикончили бы на месте, руку благо набили, наловчились, на

промахнулись бы, а клеветать мастера: «Как явствует из сведений, житель села Укмела Шахрия Джохадзе поставляет пачку бандиту Георгию Уданишвили. Когда мы пришли выяснять это, я и младший Микха Личели, у Шахрия Джохадзе, последний удрал, споткнулся о валявшийся во дворе плут и порезал себе нос о лемех...». Писать никак не наловчились, не беда, главное — смысл, главное — готовность, бдительность — основа основ, и писал протрезвевший Радо Вгуджанишвили начальнику Горийского уезда, писал об этом пространно, другие же сводки излагал коротко: «Проживающий в Адзви служащий охраны железной дороги Грisha Меладзе убит выстрелом из винтовки прож. в селе Мал. Меджарисхеви Димитрия и Лодо Чикондзе». Или: «В границах Меджарисхеви и Хевтиси убит прож. в г. Тбилиси Шалва Хетарели. Последний украл коза. Приказали остановиться, был убит». Просто, безболезненно, без переживаний. А здесь все стонал Шахрия Джохадзе, мучаясь безобидный, мирный спокойный человек, роптал и страдая телом, душой, роптал и страдал, и кто знает, когда бы успокоился: тот, кто успокаивал, не знал, какая на него самого обрушилась беда. Другие знали, стояли вестниками горя, молчали, и сказать ничего не могли, и не сказать нельзя было.

VI

Да, нельзя было не сказать, и сказали, хотя не в лоб: стреляли, говорят, нынче еще в одного, наверное, знаешь его, добавили, знаешь, наверное, и если даже близким твоим скажется, не удивись — столько всякого тебе довелось перенести и это перенесешь, да и если даже тяжело будет, все равно перенесешь, ибо, сказано ведь, кто же в здравом уме до наступления смерти кончал с собой, если бы и сказано не было, горе и невзгоды делают человека тверже скалы, и разве один порыв ветра повредит скале, скала есть скала, и нужно великое множество ураганов, великое множество ураганов нужно, чтобы разрушить ее... Это было тогда, когда Никуша услышал шум, услышал или почудилось, во всяком случае, Элизбар был тут ни при чем, не возвращался и не вернулся бы пока, он туда направлялся, туда... к границам Меджарисхеви и Хевтиси, а добравшись, не мог вернуться так быстро.

Сюда, может, кого-то другого принесло, может, это сознание собственных грехов во образе бродило окрест, шумело в крови, говорят, так бывает, говорят, но все же, кого могло принести? А может, никого и не было, просто стук собственного сердца напугал музыканта, просто он протрезвел ото сна и пришел в замешательство.

...Потом показалось Никуше, что все это сон... Кто знает, возможно, он в самом деле вздремнул, может, и поспал — не будем винить, надо только отметить, ему казалось, что все это сон, хотя он явственно слышал звуки шагов и разговоры, ясно видел, как вносили и выносили свечи, как вносили что-то или кого-то, впрочем, сон на то и сон, что все происходит как наяву... Но вскоре он понял, что не спит, сообразил, что несколько раз подходили к его двери и даже вошли, осветив ком-

нату плоской, однако быстро ушли, унесли с собой плоскую, и дверь за собой прикрыли, только он никак не мог понять — надолго ли прикрыли дверь, надолго ли его оставили или собираются вернуться. Не мог понять и испытывал чувство крайнего замешательства. Пока ему казалось, что все происходит во сне — пустое, ему вспоминались смазки, виделись путешествия по аду, и теперь он живо нарисовал в воображении картину суда, раскаяния, приговора, исполнения его, увидел липкий деготь с грешниками, вечный огонь, адский огонь, истлевших в нем, испепеленных в нем, ибо недостойно жили они на этом свете, и воздалось им по заслугам их. Да, представил, хотя и не легко было это представить, и сон, оказывается, волнует, и сон, оказывается, наводит страх, и все же иначе, чем наяву, во сто крат иначе. Может, кто и заспорит, что не во сто крат, более того, скажет, что страх во сне более велик, неважно, давайте снова вернемся к нашему герою. Итак, он понял, что это было явью, понял и его пробрала дрожь.

Однако удивительно не это — удивительно, как он не умер от страха, когда вдруг со всей очевидностью представил, что хозяев дома изрубили, уничтожили, а теперь ищут его. И дверь к нему открывали, и плоской комнату освещали, да вот только как-то не разглядели, не увидели, не увидели и теперь ищут повсюду, высматривали во двор, ворвались в подвалы, бросались в сад, во всех закоулках ищут, болтается упустили, там они его, конечно, не найдут, не обнаружат и вернутся обратно, вернутся и найдут, удивятся — вот он, оказывается, где пребывать изволит. Так и снажут — «пребывать изволит», учтиво скажут и совсем уж неучтиво схватят, поднимут с постели и погонят впереди себя. Или поднимать не станут — зарубят тут же, в постели, как хозяев изрубили, и пинкнуть не успеет, и застонать не сможет, как хозяева не смогли. Впрочем, нет, до него донеслись и крик, и плач, и нечто похожее то ли на просьбу, то ли на угрозу, он это точно услышал, значит — успели крикнуть, и он успеет, должен успеть, это что-то даст, принесит нечто вроде облегчения, а ведь и малое облегчение кое-что да значит, похоже на некое сопротивление: безоружный, валяешься в постели и кричишь или вопишь и тем самым как бы защищаешься. И это хорошо, и это что-то да значит, или же значит ничего? Неужели однако за тем он сюда прибыл, чтобы вымыслить, на самом ли деле принесит облегчение крик?! Неужели он должен ждать, вот так, как увечный ждет смерти и умоляет ее не медлить?! Нет, не для того он сюда прибыл и смерти ждать не собирается!

Додуматься до этого было трудно, а то после все быстро было приведено в исполнение, быстро, молниеносно, а если сомневаетесь, посудите сами: он снял с одеяла пододеяльник, перевязал с простыней, пододвинул к окну кровать, накрепко привязал край простыни к кровати и выбросил пододеяльник в окно. Подобрал одежду, скомкал ее и вместе с санволяжем швырнул вслед, присел на подоконник, обернулся, окинул взором комнату и сплз вниз по импровизированной веревочной лестнице, что-то просвистело в ушах и ударилось о стену, мелкие осколки попали в глаза, потом еще раз просвистело, осколок кирпича ранил ему скулу. И тут же раздался третий

выстрел, но он был уже внизу, отпустил пододеяльник и упал на землю. В него не попали, и падая, ничего он себе не повредил, но не поднялся, остался лежать там, где упал, не дышал, и не дышал, затанув дыхание. Еще раз ткнулись пули в стену, еще раз раскroшился кирпич, щебень с известью посыпался на него, словно хотели похоронить живьем, а может, прикрывали, укрывали, спасали. Скорее спасали. Замолкло все, и он шевельнулся. Пошарил рукой вокруг, отыскал одежду. Пополз, приподнялся, чтобы убедиться, находится ли в безопасности, и только приподнялся, вновь засвистели пули, пыль пошла от стен дома Хетерели, у лип вся кора ободралась, а он уцелел, бросился в сторону ворот, укрывся за разрушенной оградой и всего себя оцупал руками — нет ли где крови — крови не было, цел-целехонок, но он все никак не мог пошевелиться, все искал, все думал: вот-вот испачкаются руки в крови, вот-вот пальцы погрузятся в рану. Не испачкались, не погрузились. Потом он присмотрел более безопасное место, было темно, и все же он разглядел все окрест, глаза привыкли к темноте, глаза стали зорче от страха, взгляд острее и напряженней. Он заметил неподалеку вход в подвал, кинулся к дверям, они оказались запертыми, надо было открыть — отличное укрытие, надежнее не найти, да и податься немуда и нет никаких сил больше, через столько испытаний прошел, прошел мужественно, теперь осталось одно — перевести дух. Запили и нападавшие, либо ушли, либо не осмеливались войти во двор, решили обойти с тыла.

Как бы там ни было, он улучил момент, требовалось перевести дух, одеться и подумать, как быть дальше.

Но не дали возможности ни подумать, ни одеться. Он бы сделал, привел бы себя в порядок, хотя время и место для этого были не очень уж подходящие, все равно он привел бы себя в порядок, но не сумел, и не сумел бы, потому что, как оказалось, брюки потерял. Не было беды, лезай голову еще и над этим, и он стал думать, как быть. Но ему не дали возможности: заходил ходуном балкон, потом лестница заходила под тяжелыми шагами, кто-то бегом спустился по ней, за ним другой, третий, может быть, и четвертый и пятый, он сбился со счета, ничего странного, и давайте остановимся там, где он сбился со счета. Да, трое бегом спустились вниз по лестнице, и все трое бросились со двора, свистнули, гикнули все трое, никто им не ответил, никто не выстрелил в ответ; они минутой другую потоптались на месте, повернулись и загромыхали обратно по лестнице, по балкону, снова с шумом, грохотом. Страх вновь пробрал гостя, он согнулся в три погибели, согнулся, съезжился, сжался, едва не протиснулся в щель подвальных дверей, едва не протиснулся, но не смог протиснуться, и понятно, не смог бы, лишь звук издала дверь, заскрипела, заскрежетала, заскрежетала именно тогда, когда загромыхали по лестнице те трое, захрохотали по лестнице, но скрип и скрежет слышали; возможно, услышал один и сообщил остальным, вселил в них сомнение, и они снова сбежали вниз по ступенькам, рьяно бросились к дверям подвала, разом схватили съезжавшегося, немятого человечка, схватили и подняли что пушинку, понесли вприпрыжку наверх...

Он даже не чувствовал страха, только терпеливо ждал, что будет дальше. Может, именно это и есть страх, бог весть, что есть страх, словом, он ждал, ничего не испытывал, ни отчего не бежал, ни к чему не стремился и ничего не мог разглядеть, обмяк, покорился уничтожающей силе; покорился, но волос вырвал его из этого покорного оцепенения, голос Элизбара, голос, исполненный беспокойства, слез, горечи: «что с тобой случилось, что произошло?». Элизбар сам был потрясен, но и для гостя хватило ему слов утешения. Разве что это его приободрило, раскрыло ему глаза, заставило очнуться, вернуло глазам зрение, и пламя свечей замерцало перед глазами. Свечи горели у изголовья тахты, две толстые свечи, остальные — потоньше. Свет свечей стлался по савану; саван покрывал тахту. Кто-то вытянулся под саваном. Какой-то огромный мужчина вытянулся, одеревенел, окоченел.

В дальнем углу сидела онемевшая Тэкла, не человек — изваяние, в ближнем — Элизбар, такой же до появления гостя, наверное, немой, каменный, а теперь вернувшийся к жизни — «что случилось с тобой, что спаслось?» — повторил Элизбар. Печать обеспокоенности лежала на его лице.

Те трое или четверо отпустили Нинцшу, отошли к дверям и остановились молча, втянув головы в плечи, неловко переминаясь с ноги на ногу. Теперь ему было не до них, стыд пробрал его — он стоял полуголый перед женщиной, обхватывал голое тело руками, стараясь скрыть свою наготу. Все это выглядело смешно, но им было не до смеха. Те, что ежились у дверей, вышли, молча, усердно обыскали все вокруг, нашли санвож, собрали одежду — что где упало (брюки он потерял у топелей), принесли, протянули — одеваясь, Элизбар не позволил, вынес простую рубаху и брюки, катие советовал носить, приказал надеть, именно приказал, хотя и не повышал голоса, и глазами не сверкал, и не было повелительного жеста, но сказал — заколыхалось пламя свечей и, когда оно выпрямилось, гость терпеливо натягивал одежду; потом молча присел рядом с Элизбаром, присел по его же знаку, положил на колени свой санвож, укрыл его сверху запыленным, замызганным, прежним своим костюмом и заплакал навзрыд. Он заплакал и плакал долго. Нинто не пытался его успокоить. Молчал Элизбар, Тэкла сидела по-прежнему окаменевшая, те, что суетились у дверей ушли, или си не видел больше ничего и никого, кроме теней, которые порхали по савану, тени возникали и исчезали, светились зыбко, приплясывали, еще он видел стаявшие капли воска, и глаза его в тот же миг начинали блестеть, глаза его горели: столько переживаний собралось воедино и выливалось со слезами. Слезы приносили облегчение.

Приносили или не приносили, полились у него из глаз слезы и, как внезапно полились, так и внезапно высохли, когда доносились до слуха рев и стонания. Они доносились со двора, потом распахнулась дверь, и на пороге упал на колени и ударил головой о край тахты Лэко Таташели. Те, что суетились у дверей, оказалось, в самом деле выходили, привели Лэко, вошли вместе с ним и остановились на прежнем месте, в прежней своей позе. Лэко стонал, Лэко всхлипывал, был себя муча-

ном в голову, Лекю причитал: «почему не я оказался на этом месте, почему не я умер, почему не меня убили...».

Не перебивал его Элизбар, и Тэкла молчала, все молчала, и у Лекю иссыхали слезы, но он по-прежнему бил себя кулаками в голову, причитал и царапал лицо. Стояла минута мещанская, неприкосновенная.

И эту минуту нарушили. Те, у дверей, подняли Лекю, усадили рядом со скорбящим, Лекю его обнял, уткнулся ему лицом в грудь, заплакал, потом тлочно вздохнул, вытер слезы, овладел собой и уже обыденным голосом спросил, как все произошло.

Элизбар ничего не ответил.

— Надо его провезти... — сказал он только, едва заметив, но кивнув в сторону Никуши.

— Должны провезти... — тотчас откликнулся Лекю.

— В эту сторону нельзя...

— Нет, уж нельзя, — прервал Лекю.

— Думаю, будет лучше...

— Будет лучше, — подтвердил Лекю. Это был другой человек, не тот, которого он помнил, избитый до смерти, в изорванной одежде, нет, что там говорить, чистый-перечистый, выглаженный, вытугоженный, живой, бойкий, готовый пошевелиться, немного опрометчивый, немного дерзкий, и трусливый немного, какими словами — такой, каким, собственно, был. «Будет лучше», — повторил он несколько раз.

Элизбар не перечил, Элизбар не мешал, помешай — тот бы за словом в карман не полез, Элизбар не перечил, и Лекю усмех.

— Лучше выйти в Кавтиси, — продолжил Элизбар, и Лекю открыл было рот, но Элизбар отмахнулся. Лекю кашлялся — закашлялся, мол, и только.

— Деревню, понятно, обойдете стороной, — снова сказал Элизбар, — во дворце Катарели найдете убежище. Там заочуете. Те места уже разорили, если не возникнет подозрения, никто и близко не подойдет. Надеюсь на осторожность твою. — Снова раскрыл рот Лекю, снова взмахнул рукой Элизбар, и снова Лекю закашлялся. — На твою осторожность надеюсь, и няня свое сделает. Господке Евфимии отнесете лекарства, няня не даст испытать вам нужду. А завтра ночью держите путь прямо в Натбиси. Сторонитесь деревень и токов. Уже вышли срывать поля, обходите их, будете избегать всех и вся, и бродов не ищите на Лнахви — убыла вода, где перейдете, там и брод, мелководье. Одним словом, держите путь прямо на Натбиси, зайдите к Итревели, потом сами знают, достават в Карели или в Агару, сами знают, отправят в Тбилиси, к ним так запросто не войдут, не разбрелись еще, держатся вместе, нелегко к ним подступиться... Да... На тебя надеюсь...

— Об чем речь, на кого же еще должен надеяться! — живо откликнулся Лекю.

— Счастливого пути, — пробурчал Элизбар.

Гость лежал и поднялся.



— Уже уходим? — удивился Лeko.

— Немедля, — процедил Элизбар.

— Конечно, ясно, непременно сейчас же. — подхватил Лeko. — Ну-ка, — прикрикнул он на съездившихся у дверей и тряхнул головой, — пошли. — Те лишь уступили дорогу, и Лeko несколько смеялся.

— Тебе поручаю... — пояснил Элизбар, — они, как покажут, пусть уходят, отдохнут...

— Ну... — как по уговору воскликнули трое, — в таком положении как мы вас одного оставим, доктор? Ну... нет...

— Через деревню проводите хотя бы.

— Через деревню?! Да-ааа, — и это произнесли разом, одинаково растягивая звук.

Разрешаемое разрешиться, этим следовало остаться, тем следовало уйти, эти должны были облегчить им путь, уходящие должны были оплакать покойника и покинуть дом, и Лeko собрался, собрался, но замешкался и съехался, охваченный страхом, — таким голосом закричала Тэкла:

— О, жалкие, никчемные, бездарные! — ожесточенный голос исходил из каменных уст. — Уходите, улызывайте, улепетывайте в одиночку и по одному дайте перебить себя, о, жалкие! Вас ли называли вождями... Вы ли провели народ сквозь злосчастные века, вы ли избавляли, спасали вы ли?! О, горе, горе, у вас ли баснословный разум, сила баснословная, скорняка сказочная, вы ли спаслись от бесчисленных орд, спаслись и спасли всех своих, разве теми вы были?! Куда бежите, что превратило вас в ничтожества, если теми вы были? О, горе мне, горе!! Кто учил в вас дух великих предков, кто доверил вам круговорот нашей жизни, кто он! Кто стал нам поперек пути, кто принес нас в жертву, да немилосердно так, кто был тот, проклятый! Кому показались вы потомками героев, насекомых, великие душой и телом, насекомые, вы ли герои! Где вы, герой?! Герои нужны стране, а насекомым всучили судьбу народа, о, какие времена настали, время обречь, время разорять... Да развернется земля и поглотит вас, развернись, земля, развернись, земля! О, горе мне, горе, Мертвецы! В пыль обратились вы и не были вы ничем, кроме как пылью...

— Дорогая Тэкла! — выговорил Лeko (и как он терпел до сих пор!), но тут же принужден язык.

— Не желаю слушать!.. — еще громче крикнула женщина и зашаталась, вот-вот упадет изваляние. — Достоин ли ты языка родного? Иной язык подвесьте, на ином языке говорите, если что хотите сказать, если осталось у вас право говорить, надругались уже над языком моим, довольно!

— Дорогая Тэкла...

— Ни слова, говорю...

Взмахнул рукой Элизбар, поднялся скорбный, Тэкла вновь окаменела, понурились головы остальные.

— Ступайте... всего не перенесешь... Там встретят, ступайте! — прорычал Элизбар. Протянул руку гостю, легонько, слабо пожал ему руку, подбодрил, обнадежил.

Вышли, ушли, ни звука, ни шороха. Ушли.



И долго шли молча, хотя изрядно болтливым был Лекс Та-ташели, но и трусости у него хватало, а уже говорил, и сами поймете, от страха он проглотил язык, от страха перед беззвучной, притихшей, пританцвавшейся ночью. Он всегда бежал ночью. Руководить или предводительствовать не умел и, потому как не умел, — избегал, а тут неожиданно пришлось выступить в роли руководителя и требовалось выдержать, вынести. И выдержал он молчание и бездорожье — блуждали они во тьме, по бездорожью, хотя хорошая аробная дорога вела в Кавтиси, проводники и вывели их на дорогу, но только они скрылись из глаз, Лекс свернул в поле, свернул и, понятно, последовал за ним тот, кого он вел, понятно, последовал.

...Так подошли они к старым палатам. Потемневшие, осевшие, замшелые стены из камня на извести удивительно странным светом сверкали при расветном свете, старые стены сверкали, а узкие и высокие окна слепыми глазами смотрели в ночь, и рассветная звезда не отражалась в них. Окна были выбиты. И пусть себе не отражалась — Лекс не нуждался больше в ее свете, много света хотел он, много его заботило, потому и покашливал так бодро, несколько даже сердито, нетерпеливо, словно вызывал кого-то. И вызвал: черная тень легла на каменные ступеньки, черная как смоль тень омрачила мерцающие звезды.

— Нина... — сказал Лекс, чтобы подбодрить гостя, сказал и кашлянул, давая знать встретившей, что это именно он, а не кто другой, — «кому не знакомо мое покашливание». Ушла, конечно, только ничего не ответила и не шевельнулась, когда она подошла и поздоровались, что-то неясно пробормотала в ответ, потом повернулась, засеменила короткими быстрыми шагами. Так двигается тень. В коридоре стало еще темнее, и тогда она взяла с полки коптилку, с полки, задержанной занавесью, загляла ее и засеменила дальше, молча, ни разу и взглядом не удостоила гостей, повела по узкому коридору в узкую же комнату, оттуда в другую, подняла коптилку повыше, осветила бледным светом голые стены и большую нишу, повела коптилкой из стороны в сторону — велела раскрыть нишу. Лекс понял, отдернул занавес, но ниша оказалась пустой. Коптилка вновь покачнулась, теперь уже вперед, Лекс приналег на стену. Не двинулась стена. Опустилась коптилка вниз — «снизу толкайте», он толкнул, не покорилась стена, он толкнул еще раз изо всех сил, нет и нет, и тогда она обернулась к гостю: «чего стоишь, подсоби» — приказала движением коптилки, и он приналег на стену. Трудно сказать, какие силы у него оставались или с какой силой он приналег на стену, трудно сказать, и не к чему, поддавалась стена, заскрежетала, сдвинулась, сырость и мгла вырвались наружу. Свет коптилки примешался к той сырости и мгле. Они спустились вниз по лестнице или ухватились за свет и двинулись за ним. Когда остановился свет, остановились и они, и здесь увидели нишу и дрогнули: куда мы идем, какая опасность нашла на наши головы?! Дрогнули или испугались, безжалостно покачивалось пла-

ми светильника: «откройте», потребовал жест, открыли и вдохнули с облегчением — в нише лежала постель, свет приказывал собрать ее и нести, собрали и подняли вверх, закрыли потайную дверь, задернули нишу, и пламя велело следовать за ним: следовать за ним, вновь приказала копилка, но на столь долгое молчание и пассивность не согласился Лекю, сказал, что останется здесь, что нет сил больше, если дадут постель — хорошо, а нет, пропади все пропадом, завалимся спать, и когда одолеет сон, перестанет причитать желудок. Женщина засеменила в угол комнаты. «Здесь нет ни тахты, ни стола, ни стула, как тут ляжешь или поешь?». «По одежке протягивай ножки», — ответил Лекю. Тогда на угол комнаты указало блеклое пламя, там они и бросили свои постели прямо на пол...

VIII

Бросили и завалились, завалились и ушли в небытие, не соображали, не понимали уже, где находятся, не поняли этого и тогда, когда проснулись. Единственное, что было ясно — они проснулись днем. В комнате стоял небольшой стол и стулья, на столе лежали хлеб, квашеный чеснок, вареная фасоль в чашах, стурпы и маленький кувшин, очень маленький, водочный. Верно, все внесли еще утром: на полдник водка не полагалась, впрочем, до нравов и обычаев ли разоренной семье, но заведенный порядок пребывает, если даже душа покрывается грязью; человек к обычаю тянется, еще упорнее тянется, видит в нем единственное свое спасение... Одним словом, здесь не изменили обычаю предков: накрыли стол, одежду вычистили, выгладили — она висела на спинках стульев, оставалось только подняться, но не могли, головы на смятых отсыревших подушках безвольно поначивались из стороны в сторону. Наконец Лекю с трудом поднял тело, надел архалук и хлопнул в ладоши, и, словно дожидаясь этого, тотчас же раскрыла двери женщина в черном, внесла кувшин с водой и таз, положила их возле дверей, полотенце повесила на засов. Лекю взвел руни, замахал отрицательно: «пойду к ручью и с головы до ног вымоюсь, словно Иисус в Иордане». Не одобрила непокорности женщина, и сравнение ей не понравилось, не понравилось, но вслух она ничего не сказала, да и лицо не выражало ничего, хотя неизвестно — по самые глаза и губы закутана была она в черный головной платок, и все же отразилось на ней недовольство — так она покачнулася, так посмотрела в сторону дверей. Лекю понял, понял и Нико, хотя он лежал пона, все еще сплпались у него глаза.

Да, все еще сплпались, но тем не менее он сумел увидеть, как маялся Лекю Таташели — одной рукой лил воду из кувшина, другой брызгал себе в лицо, увидел, поднялся, помог умытья. Лекю поблагодарил, вытащил из кармана архалука расческу, встал у окна, причесал волосы, бороду, не обернулся больше, не видел, и не заботило его, как мучался молодой музыкант. Няни уже не было в комнате, она вышла еще тогда, когда у Нико смыкались веки. Только он помылся, вошла, вы-

несла грязную воду и уже не показывалась. Они в ней и нуждались больше, еды было вдоволь, стол накрыт. Именно это и не нравилось Лекю, не нравился стол, накрытый утром, не нравилась вчерашняя фасоль, водка — другое, от водки бы не отказался, но после рюмки непременно пожелал бы чашку на, прохладного вина, а кто его принесет? Никого не видно, не слышно, не слышно и шороха. Тогда вспомнил Лекю о лекарствах, которые послал с ним Элизбар Хетарели, и хлопнул в ладоши — «теперь-то я знаю, как быть», но никто не отозвался, не появился никто. «Ах так! — Лекю стукнул себя кулаком в грудь — «добро!» — стукнул себя кулаком в грудь, распахнул двери и крикнул таким истошным голосом, молния было подумать, его оскопляют. Заскрипели, задрожали, загудели замшелые коридоры, гулко разнесся крик по залам, тут вырвался из подвалов, все равно не встревожил женщину, медленно, не суетясь, тенью подошла она к дверям комнаты, где расположились гости. «Чего желаете?» — дала им понять, скорее почувствовать вопрос, молча, не шелохнувшись. «Мы ничего, — пренебрежительно ответил Лекю, — я, во всяком случае. Как тебе известно, мне ничего и не надо было, ничего не хочу и не пожелаю ничего, только лекарства жалую госпоже Евфимии, поднеси». Он протянул лекарство. Протянуть-то протянул, только, видно, не собирался отдавать, и няня не шелохнулась.

— Я, — докладывал Лекю, — узнал, что кончились лекарства у госпожи Евфимии, а то в эти края и не собирался заходить, чего ради, направился прямо в Хевтиси. — Эй ты, — крикнул я Элизбару Хетарели, — я — Лекю, ты тут bona отдыхаешь, почему, говорю, покиннул в беде женщину, готовь, говорю, немедленно лекарства, не то, говорю... Чего там расписывать, одним словом, да продлитесь твоя жизнь, изготовил Хетарели лекарства, и я тотчас же в путь, и вот подношу. — Только тогда протянула руку няня, показала длинные, крупные руки. Обхватила пузырьки чуть узловатыми, чуть искривленными пальцами, повернулась и молча вышла. «Митом с вином присеменит», — оживился Лекю, но нет, не присеменила, не принесла вина; делать было нечего, налил Лекю себе водки, выпил залпом и блаженно выдохнул: — Уф, отродясь такого вкусного напитка не пробовал, а фасоль-то канал, такой фасоли пробовать не доводилось. Квашеный чеснок! Уф! Уф! Уф! Какая рука его заквашивала, хотел бы я знать. Пододвинься, ешь на здоровье: «что кому дано судьбою, то ему и утешенье»*, благослови господь сказавшего эти слова.

И все равно не смог успокоиться Лекю, раскраснелся, зачирикал, не смог успокоиться и в ладоши хлопнул и крикнул, никто ему не ответил, тогда он кашлянул угрожающе, самоуверенно, «подожди меня здесь», — бросил си и вышел, и Никуша ждал, что ему оставалось делать, ходил назад-вперед перед окном и ждал. Высокое, узкое окно смотрело на широкий канал и сгоревший дворец. Черные, обутленные стены и колонны с отбитыми арками врезались в блестящую синеву неба. Горы

* Строка из поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

между колеснами и разрушенными стенами тоже казались синими, горы или склоны Кавказские, к синеве прилепалась зелень — пряди то ли леса, то ли роц, то ли садья на овражных склонах, что бы ни было, была зелень, была синева, прокопченные столбы и черные стены споровшего дворца. И тогда он впервые почувствовал, что всяк его энтузиазм, тогда он впервые почувствовал одиночество и неприкаянность и захотелось бежать, но он не знал, где находится, и Лeko ничего не объяснил ему толком, разве что могла помочь собственная, им же составленная карта, она указала бы ему путь от Кавтиси до Натбиси или просто до железной дороги, подальше от этих мест, от всех этих мест, всей Внутренней Картли, Карталинской долины, что раскинулась как на ладони посередине гор, раскинулась так светло, так отчетливо, так ясно, выглянешь, со склонов Эреван и муравья не упустишь из виду. Хотя кому какое дело до муравья, «Кому какое до меня дело». — тяжесть легла ему на сердце, он все же принялся усердно рассматривать свою карту... Не услышал, как стал над головой Лeko Таташели, кашлянул у самого уха. Он поднял голову, чуть не стукнул в лицо, тотчас же отступил в сторону, невольно сложил карту и закинул за пазуху, закинул в страхе — так лукаво блестя глаза у Лeko, так зычно, вызывающе он понахваливал.

— Это... — растерянно молвил Нико.

— Тт-сс, — Лeko приложил палец к губам, — нет, почему же... я все знаю.

— Нет...

— Знаю, знаю, меня зовут Лeko Таташели, и, значит, я все знаю, это значит еще, что никаких признаний у меня наглым железом не вырвут... Ну да ладно. А теперь вот о чем я доложить тебе должен, мой юный друг, должен я тебе доложить, что нам пора уходить. Скоро опять ночь наступит, а с темнотой и во дворе шагу не ступлю, не ступал и не ступлю, вчера что было, то сплыло и не было ничего, и не будет, так что пора нам уходить, но уйти не сможем без того, чтобы не повидать Евфимию. Она, как знать, беседу с нами затянет, тут и попрошу мне напомнить, что спешим, беседа, сам знаешь, порой человека увлечет, захватит, меня может захватить да завлечь, напомни. Надеюсь, не забудешь.

— Нет.

— Прекрасно и великолепно! Где она до сих пор, эта несчастная баба?! Будь я проклят, если она сказала, что мы здесь, так бы и выпроводила, не сказав.

— Лучше было...

— И слышать не хочу! Меня зовут Лeko Таташели, значит, я знаю, что лучше и что будет лучше через множество лет. Наперед знаю, известно, нечего другим голову ломать, нечего мне советовать. Никто и не осмелится советовать, из тех, кто меня знает, понятно. Мы с тобой недавно познакомились, потому прощаю. Нет, не стоит благодарности, зная мелочь, я много больше простить могу, я великодушный, меня зовут Лeko Таташели, значит, великодушный. Одним словом, приказал доложить, да-с, приказал, доложи, что со мной такой человек...

— К чему это... — забеспокоился гость.

Леко Таташели вскинул брови, сморщил лоб и процедиł сквозь зубы:

— Я или не я — Леко Таташели?!

— Как прикажете. — помирился гость, понятно, помирился, он уже жалел, что попытался возразить.

— Я и говорю, должи, мол, со мной такой-то человек. — Леко проникновенно кашлянул, кашлянул так, вполне хватило бы выразить проникновенность, самоуверенность и гордость одновременно, но этого ему показалось недостаточным, он поднял руку, щелкнул пальцами, даже на цыпочки стал: «Эй и Леко, мое высочество, приказать изволит, и никому не по силам преступить мой приказ».

Не знаю, как на других, да и не наше дело, на сей раз там стоял только один заплутавшийся, сбитый с толку путешественник, он и только он смотрел на него, слушал его, и, вероятно, речь Леко произвела на него впечатление — он встрепенулся, вывернул оушну, вытащил костюм, белую сорочку и черный бант. Одежда помялась изрядно, надевать ее нельзя было, негодилась она для торжественной встречи, не мог он предстать и в поношенной, хотя и вытуженной паре, подаренной Элизбаром Хетарели, поношенной — не то слово, и не в том деле, будь она нова-новехенька — для визита, по его глубокому убеждению, не подходила ни в каком отношении, не мог он в ней показываться на людях, иное дело плутать ночью по рапаханному полю и склонам оврага, иное, конечно же, совершенно иное, чем встреча с госпожой Евфимией, хотя он и не знал, кто она, эта таинственная госпожа Евфимия, впрочем, кто бы ни была, все-таки лучше предстать перед ней в измятом костюме, чем в халате и брюках свинаря или пахаря. Он принесет госпоже извинения за свой вид, путешественнику и без того проснится. Леко думал о другом, он зыркал у него из-под одежды, бросил на стул, вынес его в коридор, прикрыл дверь и подмигнул. Сейчас узнаем, примет или не примет нас госпожа Евфимия. Нико захотелось в этот раз отнаться более решительно, но одно желание ничто, если ему не сопутствует решительность, ее не было, и он не издал ни звука, да и Леко трещал как балаболка, все равно не дал бы слова молвить, все доказывал, что он Леко Таташели и никто другой и на нем светlichem сошелся; потом вдруг предположил или до него донесся шорох, наострил уши, на цыпочках побежал к дверям, осторожно приоткрыл их, осторожно, без скрипа выглянул, просуил руку и втащил стул. Отглаженный костюм, отглаженные рубашка и бант лежали на стуле.

...Ничего не могу сказать о блестящей зале или блестящем приеме, но все же ту комнату, обставленную обязательной ручной работы мебелью орехового дерева, никак нельзя было назвать совершенно пустой, представьте себе, на стене висел большой ковер, другой ковер устилал пол, тоже большой, во всю длину и ширину пола. Одно из кресел было с колесами, в нем сидела госпожа Евфимия. Она не поднялась навстречу гостям не потому, что это было у нее в правилах, нет, конечно, просто не могла подняться, паралич ног лишил ее способности двигаться; болезнь извела, она забывала, где находит-

ся, забывала, кто она, погружалась в туман, падала куда-то вниз, в темную бездну, погружалась в нее, потом приходила в себя и мечтала исчезнуть, но это от нее не зависело. На этот раз ее лицо, покрытое темными пятнами, выглядело крайне возбужденным, испуганным. Она протянула руку для приветствия или поцелуя и тотчас же отняла ее, спрятала за спину, сперва одну, потом другую руку. Погодя она показала только правую, чуть ли не вонзила длинные ногти в подбородок стоящего впереди Лео, тот и виду не подал, вежливо взял ее руку, приподнял на носки и поцеловал. Темные полосы бросились в глаза путешественнику, когда он наклонился, чтобы припасть к руке хозяйки; темные полосы опоясывали ее пальцы. И внезапно что-то промелькнуло в мыслях господни Евфимия, она странно хихикнула, резко отдернула правую руку, спрятала за спину, а когда показала обе, на них блестели изумительные перстни. Госпожа Евфимия засмеялась.

— Почему это я вас испугалась? Но так уж, страх повелевает нами, страх лишил способности различать людей... лишил, — прибавила она с тоской, глубоким вздохом.

— Лишил способности, — подданных Лео и тотчас же прибавил, — обжегшись на молоке, на воду дуют.

— Именно... — подтвердила госпожа Евфимия, впрочем, какая уже теперь госпожа, если она и укрылась в этом ветхом замке, и то благодаря той, которую Лео называл няней, и чадо сказать, никто не польстился на обветшалые залы; в противном случае няня ничем не сумела бы помочь, как не могла помочь там, в новом дворце. Впрочем, она и тогда никому пути не преграждала, у нее на глазах разграбили, разворовали богатый дворец. Выпотрожили, опустошили с шумом, гамом, грохотом, треском, она и бровью не повела, не шевельнулась, ни признака сожаления не отразилось на ее застывшем лице. Она стояла, загоревшись собой Евфимию, стояла и внушала ей молча, без слов: «ты ничего не видишь, не слышишь, ни о чем не соображаешь, не переживаешь, окаменела ты, вроде мена!». Лучшего не посоветуешь, нельзя было внушить лучшего, но все же не сумела Евфимия окаменеть, сидела съездившись в кресле-коляске, затянув уши большими пальцами, остальными восьмью терла глаза, терла и дрожала, как в лихорадке; или, может, и того хуже, но трудно подобрать другое сравнение, а если бы в силах представить себе что-нибудь похуже, представьте себе искромсанныго человека, искромсанныго и изрубленного, когда плоть еще трепещет, еще дрожит, еще сводит ее судорога, еще не остыло тело. Так она выдержала, если можно так выразиться, перенесла немилосердный грабеж, но до того, пока они подступили к библиотеке... Тут уж госпожа Евфимия ничего не сумела с собой поделать, не сумела, когда, на мгновение вытаскив пальцы из ушей, услышала скрежещущий звук раздираемых переплетов Древних рукописей или новых редких изданий, когда увидела, как сдирают тонкую бумагу с иллюстраций, заворачивают в нее махорку; содрали, завернули с ухмылкой, задыхали самокрутки и опять ухмыльнулись с поразительным блаженством, тут она не вы-

держала и истошно закричала: не ведаете, что творите, джари! Закричала и вкатилась в библиотеку, вкатилась, прямо к сваленным в кучу книгам, схватила и швырнула в них, завалила одну за другой с криком, проклятиями, плачем, голос захрип, голос человека, привыкшего чуть ли не сизмальства к неторопливой спокойной беседе, трудно сказать, что она стала бы делать дальше, да и что могла сделать особенного, ничего не пришлось — кто-то поднял огромную ногу, поднял ступню огромной ноги и ударил в кресло, оно рванулось, ступнулось о дверь, распахнулась дверь настежь, кресло натолкнулось на стену соседней комнаты и перевернулось, подмяв собой потерпевшую сознание женщину...

Госпожа Евфимия очнулась здесь, в древней зале, но так и не оправилась с тех пор, потеряла способность ориентироваться, не могла взять в толк, что это за обугленные стены и почему она здесь, и няня ничего ей не говорила. Госпожа приставала к ней, требовала объяснить, и в тот же миг на нее находило помрачение, она впадала в беспамятство, тогда няня толковала ей сны, рассказывала сказки женщине, впавшей в беспамятство, сказки, рассказанные в детстве множество раз, и они, словно на самом деле были волшебными, приводили ее в чувство, возвращали к жизни — сказки и лекарства Элизабара Хетэрели. (Она никого к себе не подпускала, кроме Элизабара, родни-то у нее не осталось ни единой души).

— Ох... хаааа! — вдруг вскрикнула госпожа Евфимия и упала в обморок, успев до того ухватиться пальцами за искусственные свои локоны и сорвать головной убор.

Гости вздрогнули, отпрянули, потом как будто догадались, что надо помочь, протянули руки, подались вперед, но няня отрицательно покачала головой, посмотрела на них сердито — «не суйте нос не в свои дела, отвернитесь и смотрите в окно». Так они и сделали, хотя, кто знает, может, няня ни этого и вовсе не приказывала, как бы там ни было, одно было ясно — не хотела она, чтобы они вмешивались, и они не стали вмешиваться. Стояли, смотрели в окно, смотрели с надуманным интересом, молча и несколько испуганно ждали, какую еще штуку выкинет дама в кресле-ноляске. Воялись, впрочем, зря, мутная пелена спала с глаз Евфимии; осмысленное выражение появилось на ее лице, она очнулась; вспомнила, как помутилось у нее в глазах, вспомнила, что приняла Лео Таташели за чудницу, не забыла и скрывать не стала, призналась, что привиделся он ей чудником, призналась, когда они отошли от она и сели перед ней, сели несколько поодаль, хотя на сей раз вид госпожи не внушал никаких опасений, она сидела спокойно, откинувшись в кресле в серебристом головном уборе, аккуратно завязанном на подбородке, в серебристом же атласном платье с золотистой займой округ подола. Одета она была празднично, но не сознавала этого.

— Ты меня поймешь, — говорила она Лео, — не перед тобой извиняюсь — перед молодым человеком, впрочем, и он, должно быть, меня поймет, такую уж взял на себя задачу — обязан все знать, все понимать.

— Я... госпожа... — пробормотал гость и с укоризной взглянул на Лео.

— Совершенно правду изволите говорить, — подтвердил Лeko. — редчайший человек, все понимает, всем почувствовать может, обо всем догадается, не нуждается в пояснениях, поймет без лишних слов и почувствует. Сам еще не знаешь, чего тебе надобно, он уже готов руку помощи протянуть, если я Лeko Таташели — то человека за версту насквозь вижу, не ошибусь и поддержку достойных людей, которые служат столь высокому делу, вечному, — Лeko возвел руки вверх, руки и глаза, сопроводив свой жест движением губ, словно шептался с кем-то, поверял тайну, собственно, ни с кем-то, а с самим господом богом. Гость сидел как зачарованный, как человек, который ровно ничего не понимает из того, что ясно и ясного, не смел слова молвить — боясь нарушить эту таинную беседу.

Возвела очи и госпожа Евфимия, взгляд исполненный упования на господа, губы ее шевелились. «Святое дело, вечное, высокое, — шептала она в облупленный потолок, покрытый пятнами копоти, и, повысив голос, продолжала: — Я всегда верила, что скоро избавлюсь от рокового оцепенения, верила, и вот свершилось! Милостью твоей, господи! Милостью твоею!

— Свершилось! — чужим голосом подтвердил Лeko. Неважно, что его голос показался гостю чужим, важно, что сам Лeko начал озираться по сторонам в поисках, кто бы это мог сказать — он или кто-то посторонний человек.

— Я всегда верила, — продолжала бормотать Евфимия, — верила, верила... Верила, что будет существовать наш народ, пребывать вовеки, верила, и вот сбылось, решился на борьбу, не покорится, значит, будет существовать, будет жить непокоренный.

— Пойдем, — снова напомнил гость, но напомнил уже не ко времени — сумерки вползли в древние палаты, сумерки растворили углы просторной залы, и не стало видно ниши — памятника вечной неподвижности, все же показалась она, отделилась от темноты, приоткрыла дверь, и рука ее застыла на дверном засове.

— Не прощаюсь с вами, — сказала госпожа Евфимия, и с удовлетворением кашлянул Лeko, кашлянул — понятно, время Лко прощаться на ночь глядя, и одновременно подмигнул гостю — вот оно, гостеприимство рода Катарели, и ныне сказал он сердечные слова в надежде, что не будет отводить их в дальние комнаты, накроет стол где-нибудь поблизости; сказал с надеждой и с надеждой за него последовал. Та повела, сворачивала, шла прямо, снова сворачивала, спускалась вниз, поднималась вверх, открыла двери: звезды сверкнули им в глаза. Пока еще разбирались, где находятся — в комнате без потолка или невесте в каком месте, дверь хлопнула, и изнутри послышался звук запираемого засова. Лeko в тот же миг бросился обратно, приналег на дверь, но не шевельнулась дверь, старинная дверь из тех, что выдержала таран. Какой вред могли причинить ей кулаки Лeko, и криком немного добьешься — разве отведешь душу, хотя уже и души не отвести — во дворе ночь вступала в свои права, дверь изнутри заперта была на засов.

— Отопри, ведьма старая, чертово отродье. — Кричал Лекко, — открывай дверь преисподни, нехристь, плутовка свирепая, врот эдакий, дрянь могильная, ведьма... Ты... Ты... Дядя, открой, у нас там остался...

— Здесь он, хватит кричать, — спокойным тоном сказал гость. Он впрямь был здесь, санвояж Нико, лежал возле дверей.

Сник Лекко, сник и заскрежетал зубами, что ему еще оставалось: заскрежетал зубами, заскрежетал, одно название канули в Лету зубы молодечьи. Небо сверкало, сверкало так же как и тогда, когда Лекко по-молодецки скрежетал зубами или как тогда, когда вольный ветер веял над родом Катарелли и ныне замшелый дворец, обнесенный крепкой каменной оградой, блестел ярким блеском, или как тогда, когда на земле еще не было жизни, или как потом, когда жизни не будет и не будет земли самой, сверкало и будет сверкать!

IX

Да, сверкало и будет сверкать — вон оно, куда загнуло, но ничего не поделаешь, такая мысль пришла Лекко в голову, когда он, отчаявшийся, злой, присел на замшелый порог. Мысль пришла в голову, и тотчас улучшилось у него настроение, он выгом вскочил, отошел от дверей, развел руки в стороны.

— Человек ни под чье влияние попадать не должен, — заявил Лекко, — все мы гости в этом мире; и должен жить человек как гость, шутить, воляничать, растить свой цветок, говорить, что придет в голову, действовать как заблагорассудится, идти своим путем, а не следовать за кем-то... пусть каждый ходит своей дорогой, — он хотел еще что-то сказать и, надо полагать, говорил бы довольно долго, стоя у дверей под звездным небом с разведенными в сторону руками, но Нико улучил момент:

— Пойдем...

— Куда?

— Куда шли...

— Эх, как знать, может, тебе нажется, я твоей дорогой иду? Не-а, не воображай, меня зовут Лекко Таташелли, и раз я наполнил себе, что каждый своим путем должен идти, значит, ступай своей дорогой, значит, разойтись должны наши пути-дороги, потому как если ты идешь вперед, у меня дорога назад, ежели я иду вперед — у тебя обратная дорога, ежели ты вверх — мне вниз, ежели тебе на ту сторону, мне и на этой хорошо.

— Что вы изволите говорить?!

— Что слышал. Я свое высказал, теперь выслушаю тебя, и бросим жребий.

— Я... Я... Я... Как я... Понял... Вы желаете меня покинуть? — запынчался, спросил Нико.

— Разумный молодой человек.

— Как же мне быть теперь?

— Тебе видней, — Лекю не обратил на его волнение никакого внимания, — в советники я тебе не пригожусь. Ночью я всегда под крышей находился и ночных дорог не разбираю. Тебе днем лица своего назатыкать нельзя, мне плутать по незнакомой местности охота. Вчера что было, то случилось, господь с тобой... Теперь прости-прощай, — заявил Лекю и сбегал вниз по замшелым ступенькам.

— Как же так? — Нико вприпрыжку пустился следом. — Оставляешь одного ночью?

— Ничего страшного, зануждаешься в чем — тут и подсобить кто явится, протянет руку помощи, под небом руку протянуть не трудно. Это под землей нет возможности, не-а, нету, невыносимо под землей.

— Но кто мне поможет в такой глухомани?!

— Появится. Не останется человек один, — Лекю потрепал его по плечу, — кто-нибудь да появится, если никто другой, эта безбожная старуха. Уйду только, она тотчас тебе дверь отворит.

— Не думаю, — возразил Нико, возразил вполголоса, спокойно, задумчиво, — Элизбар Хетарели..

— Я что тебе говорил! — крикнул Лекю Таташели. — О чем я тебе говорить изволил?! Изволил я говорить или нет, не упоминай, говорю, больше имени Элизбара Хетарели..

— Изволил..

— Дальше..

— Вырвалось неволью.

— Дальше?!

— Не упоминай больше..

— И про себя не упоминаешь!

— Нет..

— Тогда пошли.

Так неожиданно они помирились, точнее, Лекю Таташели пошел на мировую, и Нико не стал артачиться, наснивать, осаждать разнузданного. В ином месте и при иных обстоятельствах, кто знает, может, и не снизошел бы до него, но тут ничего не оставалось делать, кроме как покорно следовать за ним, идти шаг в шаг по тропе или плестись наугад. Вскоре вышли они на дорогу... Большую дорогу, широкую, прямую, ровную; ухабины, обрывы, косогоры, канавы остались позади, и они вздохнули с облегчением. Хотя неверно в данном случае говорить, что Нико вздохнул с облегчением. Нет, неверно, напротив, только они вышли на столбовую дорогу, вспомнил Нико о предупреждении Элизбара Хетарели избегать столбовых дорог, затанул дыхание, начал озираться по сторонам; вспомнить-то вспомнил, только имя Элизбара выкинул из головы, не дай бог сорвется с языка. Не сорвалось бы, впрочем, Лекю Таташели не дал бы слова молвить своему попутчику, он был увлечен собственными словами, и словами увлечен и дорогой, точнее тем, что выискивал возможность сократить путь, и исполнился веселого возбуждения: перво-наперво приказал идти с ним рядом, «широка дорога, достаточно широка, уместятся двое идущих плечом к плечу, и дважды двое уместятся, и четырежды четыре, и больше. Могут пройти и не сталкиваться, не наткнуться друг на дру-

га, словно ленивые волны; мы-то, во всяком случае, уместимся на этой дороге, вот и ходи рядом, слушай меня внимательно, усердно, не устанешь, не выйдешь из терпения, и обида твоя пройдет, хотя ты и не обиделся нисколько, не с чего было, но в глубине души наверняка осталось что-то, легло само по себе, безо всякой причины, пятнышком, точечкой. Сотрется это пятнышко или точечка, изгладится. Одним словом, слушай и молчи». Да, так он приказал и продолжил или начал новый рассказ:

— Жили-поживали и ходили соседи к Катарели или Оцхели, кого Катарели не любят — те к Оцхели идут. Вражда была между семьями Катарели и Оцхели, и одна семья к друзьям своим причисляла врагов другой. О чем еще догадывать?! А должен я тебе доложить о следующем: всегда то-ворю, один Оцхели существовал и поныне один существует, Георгием зовут, что прозвищу — ученый. Нынче его больше по прозвищу знают, спросишь Георгия, могут не понять, о каком Георгии речь. Если будешь спрашивать — ученого спроси, загадки не загадывай. Мне и спрашивать не требуется, знаю и кол и двор, найду с закрытыми глазами, могу поспорить, если желаешь! Хотя нет... Несколько лет назад я бы еще поспорил без колебаний, сейчас нет, нет, нет, неверный шаг сделаю — прямо к ним в руны попаду, к властям. Там же они, там же, в том же доме. Дом велик. Старинный родовой дворец Оцхели. Не так, чтобы уж слишком старинный, но манер прошлого столетия, только на какой лад он ни был бы выстроен, большой, это сказать хочу, а ученый к одному углу его прищит, в остальных же сидит, вольничает приспешники власти. По своей вине он к одному углу прищит, по своей вине или желанию. Он в Германии философию выучил и, как оттуда вернулся, какое у него было мнение, какое снотина или орудие труда всеобщим объявил и дом общине передал, сам приткнулся в углу. Это все вам, дескать, как хотите, так и распорядитесь; я, дескать, здесь находиться буду со своими книгами и своими мыслями; да, говорит, здесь находиться буду, вот и находится по ту сторону дороги, на задворках.

И пошли. Долго ли они шли, недолго ли, свернули, под конец, со столбовой дороги — Леко свернул, и гость последовал за ним. Впрочем, и тот, и другой, оба они были гостями, только одному было известно, куда он направлялся, второму нет. Тем временем Леко открыл калитку, и только он ее открыл, какие-то существа высыпали из кустов вербы, подбежали, стали тереться о ноги, гость вскрикнул, вскрикнул и провозгласил, но быстро пришел в себя; не бойся — успокойт он своего спутника — собаки-то охотничьи, вреда не причинят. Не беспокойся, — и нагнулся, потрепал собак по спине, — от него ни разу выстрела не слышали, он к ружью, может, и не прикасался, но с охотничьими собаками никогда не расставался, двух или трех всегда держал и держит, одиночество развенчает.

— К кому мы пришли? — спросил Нино.

— Что за вопрос?! — Леко перестал гладить собак, собаки бросились к лестнице, взбежали по ступенькам на балкон, пританцлись, таянулись, будто оповещали о чем-то хозяина,

травмули и снова сбегали вниз тереться о ноги пришельцев.

— Я-то должен спросить, — пробормотал Нико, и умоляющие нотки прозвучали в его голосе.

— О ком я тебе рассказывал, Говорил ведь — у Отцелли найдут пристанище те, кого невалябили Катарелли. Мочи нету. Столько понарассказал, а ты и самой малости не понял. Увы, увы, скверный же я, видать, рассказчик, или слушатель мне такой повстречался!

— Почему же, почему? Я все хорошо понял, только не плохо приняла нас госпожа Евфимия.

— Зато плохо проводила.

— Няяя.

— Ага, значит, ты думаешь, та угрюмая старуха совершит что-либо без спросу? Нет уж. Молод ты, конечно, но не настолько, не дитя уже, не думай так, думай, как я, и когда, как я, думать станешь, поймешь — Евфимия уже знает, к чему причалу причаляли, и проклятья шлет, проклятья шлет тамне, час не минуют, нагонят, помини мое слово, таякко будет.

— Повернем...

— Кого там неваляют, тех здесь прикотят, говорю.

И тут послышалось с балкона:

— Кто там?! Входи, если пришел. — Послышалось отчетливо, повелительно, несколько неприязненно.

— Кто может быть...

— Лею, ясно, откроешь калитку и потом заставишь приглашать себя, кто же еще?

— Я не один.

— Покалуйте!

И с этими словами хозяин сошел вниз встречать гостей, остановился перед ними. Он был на голову выше обоих, чуть горбился, это было заметно уже во дворе, по-прежнему светлым было небо, различная ночной свет или отблеск солнца, что похитили луна и звезды, которые не имеют света собственного, только щедро льют чужой, им то что?! Или, кто знает, может, и хотят они излучать свой собственный свет, кто знает. Пока говорят, что все от солнца, солнечное разворовывают, и в небесах, видно, крадут. Впрочем, неважно. Ночь была светла, блестел двор, блестел пчельник, сад, можно было подумать, сама земля излучала свет, и хозяин словно светоч остановился перед ними, даже Лею светился, как большая церковная свеча. Они поднялись на освещенный балкон, вошли в комнату.

— Светло как днем, — сказал хозяин, — я и лампу не зажигаю. — Он зажег лампу, но трудно сказать, прибавилось от этого или убавилось света в комнате. И без того видны были книги, разложенные на полках от пола до потолка вдоль всех стен; и без того видна была длинная комната, перегороженная ширмой. За ней, верно, устроена была постель, по ту сторону столовая или гостиная, не важно как называть. Стоял стол, вокруг стола стулья с плетеным сиденьем, ничего больше; ничего больше не старайтесь увидеть, только книги выглядывали отовсюду, и на ширму сверху смотрели книги.

Да, хозяин зажег лампу и извинился, что должен на некоторое время покинуть гостей. «Верно, на предмет на», — учуял Лeko, учуял и подмигнул своему спутнику. Тот его не понял, пожал плечами. Лeko махнул рукой, подмигнул, последовал за хозяином, нагнал и что-то ему шепнул, что-то такое, после чего хозяин, хмурясь, выходил и заходил обратно; если заговаривал, говорил сдержанно, осторожно, вежливо отвечал болтливому Лeko односложным «да», ни разу на его спутника не взглянул, а необходимо было обратиться, сказать, допустим, «ешьте», обращался, глядя в потолок. Это когда сели ужинать, а по окончании и в глаза ему посмотрел, и на слова скутиться не стал.

— Не знаю, кто вы, — начал он, — не знаю и знать не хочу. Вы ко мне постукались ночью, я вас накормил, предоставил возможность отдохнуть, пожелаете остаться или продолжить путь—воля ваша, бог вам в помощь, захотите отлучиться и потом отправитесь в дорогу, отправляйтесь, постанайте желания ваши, что до меня, я вас и не запомню, и узнать не смогу, если где придется встретиться. Так оно, мы, оказывается, придерживаемся разных мнений. Я уважаю и противоположное мнение, но не всякое мнение можно посчитать за правильное, иное суть только подобие мнения, лишь простая безразсудность; с безразсудностью я в спор не вступаю, осуждаю и отхожу в сторону. Вы также не пытайтесь вступать со мной в спор. Я с вами не знаком и не хочу знакомиться, попросту повесть, я дал вам поесть, пожелаете отдохнуть, отдыхайте, я согласен, захотите уйти, слушайте, за подол никто вас держать не собирается. Воля ваша. Мне ничего о вас неизвестно.

Гость слушал вначале растерянно, потом пораженный, потом словно опомнился, открыл было рот, чтобы заговорить, но хозяин махнул рукой, отмахнулся сердито, гневно: «чуждого твоего слушать не хочу», но все же осмелился наш путешественник:

— Я... я что-то не понимаю... — промямлил он.

— Я уже ему сказал, — Лeko заговорщически улыбнулся путешественнику, заговорщически или предательски, все равно, важно, что гость растерялся пуще прежнего.

— Что сказал?! — спросил он неестественно промямлив голосом, закрыл лицо руками и застыл, согнувшись, зарывшись головой в ладони.

В это время со двора позвали хозяина, тот вышел и в комнату проникли голоса, наверное, всей деревне слышали тот разговор, такой покой вокруг царил, такая тишина стояла.

«Какие-то к тебе пришли», — сказал пришелец, как бы между прочим, как бы с осторожностью, но вместе с тем угрожающе. «Лeko...» — отвечал хозяин спокойно, невозмутимо, словно не почувствовал угрожающих ноток. «Чего шлетесь?!» — «Ночь застала в пути, он и завернул...» — «Пускай топчет в своей деревне...».

Приказ был отдан, нечего было к этому прибавить, и ничего больше сказать не было, хозяин неторопливо вышел обратно, ночной гость или ночной страж тоже покинул двор, покинул и, наверное, прошел проселок, прошел, удалился, не услышал бы он голоса, и тогда раскричался Лeko:

— Моя деревня?! Весь мир моя деревня! Где кочу заночую, где хочу переночую, разрешения спрашивать не стану, нечего совать нос в чужие дела, я в чужие дела носа не сулю.

— выпалил он и потянулся к мушкетеру с винтом.

— Хватил ты лишнего, — попридержал его за руку хозяин и взглянул на молодого гостя: «О, какого единомышленника себе нашел, ну и позавидуют тебе деятели всех времен!» — брось... отдохните, если хотите, если желаете уйти, воля ваша.

— Так тому и этак, кто у тебя останется, — бросил в лицо ему Лехо, а раз бросил, ясно, не остался бы, хотя, как знать, может, и даже наоборот, тотчас же в душе его пробудилось сожаление — время ли горючиться, собрался, а куда собрался? Но он уже не мог взять свои слова обратно, подвыпил, потому и не мог, и тому же постеснялся гостя, посчитал для себя унижительным пойти на попятную. Да, разумеется, посчитал для себя унижительным, потому и повторил строго и зычно: «так тому и этак, кто у тебя останется, — схватил за руку Нико, — вставай и следуй за мной, не прощаясь». Тот простаться не успел, хозяин и до балкона их не проводил, проводили собаки. Они встречали, они и проводили, но не до калитки, нет — не пошел Лехо в сторону калитки, но дошел до конца сада. До конца сада последовали за ними собаки, там и прилегали, потому что у холмика присел на корточки Лехо, блаженно улегся на бок «И тебе советую, — обратился он к своему спутнику, обратился уже спокойным голосом, зевнул — лучше всего уснуть сейчас».

— От горячности так бывает, — с прежним спокойствием прибавил Лехо, — не погорючись я, отдохну бы в постели, под кровом, ждал бы нас утром завтрак. Сейчас уж и не знаю, что нас ждет. Горячность врагом моим заделалась, и тебе я своей горячностью, как врагу, дорогу отрезал. В другое время никакого внимания не обратил бы на слова хозяина, пусть себе говорит. Не думай, что горячность не в моей натуре, но я там бы разгорячился, где бы она и осталась, горячность моя, неназанная. А здесь не пройдет, я тебе скажу — подол плаття оборвет — не уходите, мол, какое время уходите, на ночь глядя, ан-нет, слышал, как уютно, говорит. Ничего изнего в нем, чудяке, не осталось, все они такие, кто на чужбине вырос. Вооружаются чужими нравами, чужими обычаями пропитываются; осудят обычай предков, переменятся, изменятся. Врагами перед тобой предстанут, и называют это возвышением, интеллектуальным или чем-то другим в этом роде. И этот Оцхели, видать, возвысился. Знаю, какой он грубиян, знаю и сторонюсь, но начитанный человек, для нашего дела начитанные и развитые люди нужны, а что, нет?! Правду говорил, что ни к кому не привыкал и не привыкнет, заладил философствование, чистую философию, святую, точно старец святой, не стану, говорит, вмешиваться в политические ладения. Одно скажу с уверенностью, достоверно слышал и доложу с уверенностью, что философия или вера ничто сами по себе, они только покров политической борьбы, а если ты не борец, и философом не будешь. Так я слышал, так и верую. Сколько бы книг он ни прочитал, неа, не

выйдет из него философа. А так, полагают, что он человек разумный, даже совета спрашивают, уму-разуму научиться переходят, я самолично никогда ни о чем не спрашивал, один только раз книгу его прочитал и довольно, больше ничего не стану читать из его писанины, хотя и к написанному другим не лезит у меня душа, со своими мыслями совладеть не могу, чужими-то с какой стати себя тревожить, не знаю, ебь-гу! Ты, как желалось, читай, зубри. Что хочешь делай. Только, когда ничего не поймешь, мое понятие воспринималось. Заодно знай, чем скорее понятие мое воспринималось, тем оно лучше... Да куда мы, собственно, направляемся, — успехи. В ночи я не разбираюсь, в свете дня разбираюсь, только над, дню и доверяюсь...

Леко сказал, что доверится Дню и доверился. Долго ли они шли, недолго ли, за тридевять земель идти не пришлось; шли все время по равнине, дороги не избегали, ни аробных дорог, ни троп; ни с кем не столкнулись, никто их не окликнул, никто не приветствовал, так добрали они до Арджевнэли, дворца Арджевнэли.

«В лучшем месте находимся — отвечал Леко на вопрос гостя, дошли ли они до Натбиси, — в лучшем», и звонал а звонал, привешенный к воротам низилового цвета; ему и не удалось бы сказать ничего больше — свора огромных лохматых псов, наталкиваясь друг на друга, кинулась к воротам, набросилась на калитку, словно норовила валомать ее и проглотить зашьем двух неизвестных пришельцев, ломящихся в дом их хозяев с недоброй, конечно же, целью, — может ли иначе думать собака, великий пример верности или осторожности, пример подозрительности, — не умеет; подозрительность — одна-единственная философия собаки, нет у нее другой философии, вознегодовала, возмутилась собачья свора, дала волю подозрительности, вот-вот сорвутся прочные петли, упадет калитка, но в это время кто-то тикнул на разъяренных псов, отсигнал от ворот, запнал на псарню. Только потом открылась дверь и было произнесено — «пожалуйте», ни «кто вы?», ни «зачем пожаловали?», только вежливое — «пожалуйте». Понятно, кто не знал Леко, каждая собака знала в прямом смысле слова, и псы Арджевнэли знали Леко, а если разъярились, то из-за того, второго, таташелевского спутника. Открывшая калитку уставилась на молодого незнакомца и, не сводя с него глаз, отвечала на вопросы Леко. Они не несжались и ответов требовали пространных, но ничего, кроме «да» и «нет», не смог вырвать Леко Таташели, а порой вопрос оставался вовсе без ответа, и встретившая непонимающим взглядом, молча смотрела на него, смотрела непонимающим взглядом, но зорко — в какую сторону ни двинется Леко, преграждала ему путь: «не сюда, нет, пожалуйте туда». Она повела их вдоль забора, вывела к углу дворца, проводила на маленький балкон и отвела каждому по комнате: «сию минуту принесены будут таз, тунг, мыло, полотенце, пусть гости отряхнут пыль, помойются, отдохнут с дороги, и потом будет положено самой госпоже».

— Если бы твоя госпожа знала, гм, гм, гм... — многозначительно произнес Леко.



— Государь мой! — гневно прикрикнул на него Нико, задрожал, лицо его исказилось от злости.

— Ничего... ничего... ступай!

Она ушла, и в комнате воцарилось молчание. Нико не захотелось продолжать разговора, он поспешно вошел в комнату, увидел тахту и повалился на нее обессиленный, изможденный, опустошенный, в трансе. Упала на тахту плоть, потерявшая душу, помылась тахта пылью, горячей пылью засушливых маршалинских дорог. Запахом горячей пыли наполнилась омаленькая прохладная и чистая комната. Он, конечно, не чувствовал, не думал, принес ли эту пыль с собой или сам обратился в пыль, не в землю, откуда взят, но в пыль. Не понимал, куда и зачем пришли, и ничего не слышал, притупился слух, чуткий слух музыканта. Раньше тысячи голосов звучало в ушах, тысячи несопенный доносились до слуха, многочисленные мелодии и напевы он восстанавливал про себя или пересоздавал их, слушая, когда исполнял; вспоминал, когда стояла тишина; но такая тишина, покой, странное спокойствие были невыносимы. То было какое-то беспощадное, жестокое спокойствие, или он уже не понимал природу покоя, он обратился в пыль, и стоял запах горячей пыли в комнате, прежде прохладной, чистой, спокойной. С соседней комнаты тоже не доносилось ни звука, быть может, и тот так валялся или вышел, шатался где-нибудь; пусть валяется или шляется, все равно, только бы не заходил сюда, не заговаривал, отстал, оставил его в покое. Хотя он и столько уже не понимал, он желал этого прежде, когда они шли по знойной дороге. Здесь, в тихой комнате, он сильнее того пожелал бы, хотя и полон был пыли и жара. Но, увы, он уже ничего не осознавал, он отключился, освободился от желаний, превратился в абстрактную единицу; не вырвется из души его скорбный плач, «из земли ты взят и в землю обратись», он обратился в пыль, неопламенный близкими, спереди плач, успел первоначально раньше, раньше успел познать исполненную грехов землю, подул бы ветер, сильный ветер, пронесся по комнате или ветерок прогулялся вольно, ветерок унес бы его, рассыпал, развеял в бесконечности незримыми частицами, но тогда, к чему было ждать, пока сама земля обратится в такие же незримые частицы, не поддающиеся разгадке бактерии какой-либо новой планеты, где затеплилась жизнь, бактерии новой жизни. До мамок пор ждать, чего ради ждать, если он уже превратился в пыль. Но не было ветра, ни ветра, ни ветерка, царило невозмутимое спокойствие, невозмутимое, беспощадное, невыносимое, и лекала пыль, горячая пыль маршалинских дорог. Леко и тот сморщил нос, когда открыл двери.

Леко Таташели, чистый, мытый, собранный, собственной персоной стоял на пороге.

Проголодался Леко; полдник прошел, но ужинать было рано; все же обладеживал себя Таташели, авось накроют стол, накормят людей с дороги. Леко хотел накормить и своего спутника.

Не шевелился спутник, лежал на тахте, и душный запах пыли стоял вокруг.

— Вставай, отряхнися, умойся, скоро нас позовут, сказал Лео вкрадливо, сладко, как близкому, нуждающемуся в ласке.

И пылинки не закружились над тахтой.

Лео вышел, оставив открытыми двери — сквозняк развевает пыль.


Ни сквозняка, ни дуновения ветра, ни движения, ни дыхания малейшего — не умеет дышать пыль.

Снова прилепился Лео, снова сморщил нос, но сводило у него желудок, не мог Лео подчиниться прихотям носа. Присел поодаль, у окна. Ветерок не двигался, все же у окна сидеть было лучше, но окна открывались прекрасный вид на виноградник, впрочем, Лео не замечал виноградника, он не сводил глаз с лестницы, ждал, когда появится прислуга, позовет их; прислуга и в комнату могла войти, но важно это, оказывается, дело вовремя заметить, даже мгновение — великое дело, сама жизнь, говорится, мгновение, а если прогадался — поймешь, что немалая величина секунда, нет, немалая.

Многие рассуждали о времени и пространстве, вышлась Лео во всеобщий спор, он начал бы со слов: «когда проголодаешься...».

В данных обстоятельствах у него оппонента не было, но ему необходимо было говорить, совершенно необходимо, и, присев поодаль, он начал без обиняков, напрямик:

— Меня зовут Лео Таташели, и не зря зовут, я ни о чем не забываю, ничего не упускаю из виду, вовремя вспомню или вовремя напомню. Ты изволил сказать: мы твердо должны договориться, повелеть изволил, хотя еще не родилась на свет человек, который повелевать мною будет, но тем не менее. Тогда я не стал тебя слушать, отмахнулся, сейчас настало время твердому и ясному объяснению. Здесь нам ничто не помогает... переговори, разберемся раз и навсегда, что нас связало, к чему мы стремились, но до того ты должен знать, куда пришел, место многое значит. Великая вещь — место, оно мать нравственности, характера, что скажешь? Хотя потерпи, узнай сперва, где находишься, у кого? А находишься ты во дворце Гурандухт Арджевнэли, не слышал? Те-ес... Не проговоришься. Не прости, а не теряйся, когда нас позовут, — старуха она довольно дряхлая, легко отличить. Отличил — и прямо к ней, преклонил колена, не становись на колени, нет, склонись почтительно и, когда протянет она свою сморщенную руку, приложись с благоговением, осведомись, как изволил познать их снотельство, осведомись вполголоса, не забывай, вполголоса, иначе подумает, что ты ее за глухую принял, разъярится — как это так, ее глухой считают, разъярится и покажет тебе зад, тогда конечно, не состоится наши переговоры, не позволит нам здесь оставаться дольше. А не хотелось бы. Это тебе первое наставление, первое и самобытное. Еще запомни, числом это будет второе наставление, второе и самобытное; вокруг Гурандухт женщины восседают, одни женщины, всех возрастов, на все лица, распрекрасную увидишь или уродливейшую — виду не подавай, взгляда своего на ком-либо не останавливай, не уединяйся ни с кем.



по углам не воркуй, Гурандухт это никак не воспринимает, но остальным не понравится, и, если хоть одна носо на тебя взглянет, конец делу. Это второе наставление, второе и самобытное, хорошенько запомни, самобытные все, самостоятельные, как бы от количества наставлений у тебя ум за разум не зашел, но все равно обязан еще сказать, числом это будет третье наставление. Только облобызаешь, измятые руки Гурандухт, осведомись о ее здравии, немедленно доложки, что встретили нас отменно и отменно устроили, что из наших окон открывается изумительный вид, прекрасней не бывает, — сиди и любуйся, запомнил, сказки получше, если можешь, но смысла ни-ни, не меняй; тогда нам другое место предоставят, лучшее, иначе здесь, в этой камере, какую пользу переговоры принесут?! Поверь, не принесут, запомнил? Нам нужен большой зал, множество столов, не беспокойся, не один зал в этом дворце, хочешь бильярдную выберем, великие революции, я слышал, в бильярдных зачинались, исторические переговоры тоже в ней можно устроить, и Шурис Цихе* оттуда видна. И еще тебе скажу, числом это будет четвертое наставление, четвертое и самобытное: когда облобызаешь измятые руки Гурандухт, похвали Бека. Не знаешь Бека?! Господи боже, чтобы она этого не заметила, ни-ни, запомнил. Бека — внук Гурандухт, сын Назибролы, об отце его словом не обмолвись, невзлюбила Гурандухт зятя, не понравился. Отступись, говорит, убирайся, и сына твоего наследником Арджевиэли признаю! Он и отступился, затерлся в мире, и стал Бека наследником Арджевиэли. Потому что не родила сына Гурандухт, все женского полу, не одна, не две, не три, не четыре, не пять, не шесть, целых семь дочерей, из них шестеро верны своей породе остались, одна Назиброла родила мальчишка, за ним и записали фамилию и вотчину Арджевиэли. Гурандухт пожелала, запомнил, Бека надежда ее и упование, похвали Бека, дескать, его достоинств словами не выразишь, он надежда, избавление, спасение нашего народа, наша надежда. Еще скажу, числом это будет пятое наставление, пятое и самобытное: когда облобызаешь смятые руки Гурандухт, немедля доложки—за границей, мол, о знамени нашем молва идет, весь мир только и твердит, Гурандухт, мол, выткала и распустила знамя неподобное знамени царицы Тамар, справила и освятила; долго лежало освященное знамя в укромном месте, Гурандухт выжидала, хотела вручить его в доброй руки, Бека вручила его Гурандухт; Бека над Шурис Цихе водрузил знамя и сам затворился в крепости, пулеметы направил на дорогу в Арджевиэти, и велик он в своем бешеном гневе, кто с мечом в Арджевиэти придет, от меча и погибнет. Ты не бойся, на нас он зла не таит, не таит зла, потому на рунах нас будут носить; он власти угрожает, «вы, тронитесь, ногой в Арджевиэти ступить не посмеете, я выступлю в поход отсюда, пронесу знамя Тамар-царицы по границам Грузии». Кто знает, что будет, у кого на роду судьба такая написана, бог весть, одно только ясно, пока власти сюда носу не казали, и никто нас и пальцем не тронет... И еще

* Название крепости.

скажу... как хочешь принадивайся, хвастайся, что ты музыкант, играй, пой, заставляй петь, записывай, обещаю а оперных песни перенести, вскружи зем голову, но Гурандухт знайся: ничто от Гурандухт не утанвай, иначе она не позволит нам здесь оставаться дольше, а здесь хорошо, очень хорошо, сам убедишься, только ужинать позовут.

Но не видно было никого и ничего не слышно. Солнце заходило, собирало солнце лучи свои. Никого не видно, не слышно, ни шороха.

По-прежнему лежала пыль, лежал пепел, густой и неподвижный слой пепла и пыли. Если это был пепел, где-то в середине его должна была тлеть маленькая искорка, разворошишь пепел и найдешь; если пыль лежит, пыль знойных дорог, каждая пылинка уподобится искре, но что было — уляжничалась и лежала влажная пыль, и запах сырости стоял в комнате, запах сырой пыли.

X

«Я разговариваю с пылью. Всю жизнь я с пылью разговариваю, пыль все, и я пыль, ветром подхваченная». — промелькнуло у Лeko в мыслях, и насмешка отразилась на его надуленном лице. Потом он засмеялся, смеялся долго, до слез. Путешественник по-прежнему лежал неподвижно, или не шелохнулась пыль, не пошевелилась. «Ах так», — разозлился Лeko, подполз поближе, надул губы, дунул, дунул изо всех сил, но и в этот раз не закружились в воздухе пылинки, и сидел Лeko возле тахты с пылью, дул что есть мочи, дул и смеялся, а пыль лежала неподвижно, то ли у Лeko не доставало сил, то ли пыль превратилась в камень, камень не сдвинуть дуновением, и ветром не сдвинуть камень, тщетно утруждал себя Лeko, впрочем, не то чтобы тщетно себя утруждал: надоело ему ожидание, развлекался.

Солнце ушло за виноградник, но еще не окутались вечерним сумраком окрестности, и мертвая тишина стояла, когда внезапно раздался звук частых мелких шагов. Лeko тотчас же вскочил, выпрямился, одернул рубаху, обвел себя руками вокруг пояса — отошало вконец худое тело, Робко вошла служанка, сообщила, что госпожа просит; Лeko свел ладони ребрами, поцеловал одну и вторую, послал воздушный поцелуй служанке, потянулся было к ней, но опередила девушка, выпорхнула, он даже не успел проследить, куда она исчезла. Ни проследить не смог бы, ни погнаться — великая забота навалилась ему на плечи, надо было как-то сдвинуть с места эту пыль или окаянную пыль, без него не мог он предстать перед госпожой Гурандухт. Однако все само собой стало на свои места: пыль заворошилась неожиданно-негаданно, путешественник встал или вылез из пыльного мешка, вылез утомленный, обессиленный, надломленный, бледный как полотно. Оно оказалось к лучшему: с первой же минуты он привлек к себе внимание и списал расположение женского собрания



своим бледным лицом, затуманенными глазами и невозмутимостью. В самом деле, печать поразительно невозмутимого спокойствия и сдержанности лежала на его бледном лице и тогда, когда он лобызал сморщенную руку Гурандухт, и тогда, когда склонился направо и приложился к руке Гулкан, одной из дочерей Гурандухт... Гулкан, легко сказать, нечто выращенное в головной убор вытанулось в кресле с высокой спинкой, вытанулось гордо, вызывающе, именно так, как привычно дрессированным обезьянам (он отметил это про себя), тем не менее приложился невозмутимо к длинной кисти, поразительно длинной, поразительно похожей на обезьянью, он приложился к этой обезьяньей кисти, похожей на нее и размерами и строением, разве чуть менее сморщенной. Больше не было уже ничего способного вызвать отвращенье — по левую руку Гурандухт сидели две женщины, одна другой милостивдней, одна другой краше. Назиброла, мать Века, и Елена, мать пятерых дочерей, из которых четверо сидели у стены в противоположном конце зала.

Пятой не было, она вышла замуж за человека, который вертелся среди представителей власти, муж не пускал ее в родную семью. Гурандухт выкинула ее из сердца, вычеркнула из списка внучат, как вычеркнула Мари, Эку, Саломэ, Элисо из списка дочерей. Все они родили дочерей, последовали своей природе или роду, так уж получилось — родились у них дочери, но разве потому осерчала Гурандухт? Нет, конечно же, нет, сама была матерью семерых дочерей, могла ли упрекнуть их в том же? Нет, разумеется, нет, если кто упрекал, если у кого не лежало сердце; у них не лежало сердце к дому, они позабыли и мать, и семью, позабыли, какого они роду-племени, повыходили замуж за иноплеменных чиновников и офицеров, кто бы напал на их след, кто бы поведал о теперешней их жизни-бытье? Во всяком случае, не догадалась бы Гурандухт, даже если случайно встретилась со своими внуками или внучками, не догадалась, что ее кровь течет в их жилах, не догадалась бы, и никто бы не сумел убедить ее в этом. И выбросила она их из сердца, что толку думать о них и приходить в трепет?! Хватало для волнений и забот об остальных, вот они: Гулкан, Назиброла, Елена со своими четырьмя дочерьми.

Да, четверо сидели у стены в противоположном конце зала, о пятой уже говорилось и еще будет сказано, и об этих будет сказано, будет сказано... Теперь о четырех внучках Гурандухт: Зейнаб, Мари и Ирина сидели бок о бок вплотную, несколько поодаль Саломэ, гордо, неподвижно, надменно. Она была помолвлена и со дня на день ждала нареченного. Гость, впрочем, не приглядывался ни к ней, ни к остальным, издали отвесил общий поклон и присел между Гулкан и Ириной, между уродством и красотой, на ком-нибудь другом это отразилось бы мгновенно; угадливой, да все же скользнул бы взгляд в сторону красоты, пододвинулся бы поближе к красоте, к юности. Этот сидел неподвижно, сидел на краешке плетеного стула, так, словно вот-вот выкочит и погруженный в свои мысли побегнет вдогонку за своими же мыслями. Однако нельзя сказать, чтобы он был растерян до крайности, от-

вечал, если спрашивали, кивал головой, если соглашался, едва заметно кивал и выдал змиеподобный взгляд в сторону собеседников или старости, потому как говорила только старость. Никакого стремления к свежести, красоте, изящного намека. Не оставила в разговор ни слова ни горделивая красота, я говорю о Саломе, ни красота вспыльчивая, я говорю о Мери, ни красота вкрадчивая, я говорю о Зейнаб, ни чистая красота и свежесть, я говорю об Ирине, ведь Ирина только что познала, приобщилась, сроднилась с невнятыми мечтами. И в тот миг окутывала ее мечта или, может, она силсилась вспомнить, где могла видеть этого юношу. Зейнаб и Мери ни о чем не вспоминали, обе сидели молча, осторожно разведывали друг друга и юношу разведывали, ждали, кто из них двоих привлечет его внимание. А Саломе? Саломе попросту не нравился этот невесть откуда явившийся молодой человек, да и никто ей не нравился, кроме своего жениха, и не хотелось сидеть в зале, присутствовать на приеме: не ровен час, ни с того ни с сего разозлится бабушка Гурандухт, а приданое? А свадьба?! Чего ради доводить дело до колебаний или того хуже, просить потом прощения за неосторожность? Лучше уж сидеть, напустив на себя непроницаемый вид.

Гурандухт говорила, Пулкан вставляла несколько кипризных слов, Назиброла соглашалась с матерью, Елена сидела невозмутимо, что ни слово — воспоминание о муже: вы бы он, все шло бы как положено. С ней не спорили, давали выговориться, потом продолжали каждый свое, точнее, продолжала Гурандухт, а у Пулкан вертелось на языке: «Был твой муженек, да все равно в обратную сторону жизнь шла, семью вывернул наизнанку, поставил все вверх дном и ушел, если бы не мы...» — такие слова вертелись у нее на языке, но пока она лишь огрызалась, выжидала подходящий момент, чтобы еще горше, еще больнее ранить душу сестры, и она перестала вступать в разговор, вспоминать своего никчемного мужа. И гости, и гости, пришедшего невесть откуда, не оставила она без внимания, ждала малейшей его оплошности, чтобы перебить его, выместить, рассердить, привести в бешенство, нарушить его надуманное или подлинное спокойствие, вызвать замешательство на бледном утонченном лице и заставить трепетать его указующие красивые пальцы. Однако без весть, до каких пор пришлось бы ей ждать. Лемо получал карты в руки. Лемо отвечал Гурандухт, обнадеживал, подбадривал: «Женщина ты крепкая, как камень, долго будешь жить, многого свидетельницей станешь, самого лучшего, самого приятного...».

— Пустая надежда — хуже отчаяния, — резко выговорила Гурандухт, — на что надеяться, бесчисленное множество семян рассыпалось по крохотной земле, истощат землю семена, и доброе семя не даст всхода, дикие пустят корни, исчезнет лавр, тернием зарастет все окрест; да что там исчезнет — выродится лавр, перевоплотится в терний, на что же надеяться, откуда ей ваяться, надежде, отчаяние преддверие да я пустой надежде...

И долго и много высказывалась Гурандухт в том же духе (я, право, затруднюсь повторить), а Лекю не уступал, спорил, возражал.

— Молодежь думает иначе, добрая моя госпожа, — та-ким образом возражал он, — а если я — Лекю Таташели, то превосходно ее мысли понимать должен: вот представитель нашей молодежи, взгляните на него и верьте, что ничего не потеряно, верьте, веруйте, не потеряно и не потеряется, верьте, веруйте, ибо верует Лекю Таташели, а во что верит Лекю Таташели...

— Гурандухт в то не уверует.

— И Гулкан тоже! — отрезала Гулкан и вприщур взглянула на сестер, призывая их подтвердить свои слова, но Назиброла, тем не менее, заговорила о другом: «горжусь, что я мать Бека» — вот что она сказала, а Елена ей ответила: «мои дочери ни в чем не уступят мужчинам».

Гулкан рассмеялась низгливым смехом, никто не понял, почему рассмеялась, никто и не стал бы разбираться, все замолчали, потому как следовало замолчать.

— Это почему?! — удивился Лекю — А-ааа... вы первоначально всегда мне противились, сперва противились, потом соглашались....

— Никогда, ни-ни-никогда! — краска бросилась в лицо Гулкан.

— Напомнить? — Лекю не собирался сдаваться. — Во-первых, когда еще можно было меня причислять к молодым, когда я овдовел вторично, когда жениться надумал на твоей сестре, на Эке, ты мне ножку подставила, очернила, она тебе и поверила, отказала мне в лицо, мне, Лекю Таташели, и бросилась на шею какому-то вертопраху офицеру. Потом-то вы пожалели?! Да-с! Пожалели. Это во-первых, во-вторых...

— Пока остановись на этом «во-первых», — Гулкан не сиделось на месте, — ты уж и не помнишь, Мари тебе нравилась, а не Эка.

— Что с того, — не растерялся Лекю, — и она с каким-то вертопрахом сбежала...

— Хватит! — бросила Гурандухт, голос у нее был и без того резкий, а тут она заговорила громче и резче, прервала спор. — Каждый считает себя правым, но всегда прав один, а кто он, одному богу известно.

— И Лекю Таташели!

— Нехорошо шутить с богом, — сказала Гурандухт, — к тому же мы давно знаем, что вы Лекю Таташели, а не Давид Строитель.

Гулкан рассмеялась, рассмеялась и Назиброла, и Саломэ, остальные промолчали.

Впрочем, нет. Лекю тоже рассмеялся, и руки к глазам поднес, отирая подступившие слезы («вот оно как я смеюсь, до слез») и прибавил:

— И тот не бог вещь кто; написал «Песнопения покаяний», небось не «Вепхистжаосаши» написал?!

— Эта книга — сама Грузия, не являлось миру другого такого писателя! — отрезала Гурандухт и встала, пригласи-

ла гостей к ужину, встала и протянула руку Лекю, то была в
знаком примирения, разрешением проводить ее к столу.

Гулкан подала руку Нико... И руку подала, и усадила Радом, хотя первой села за стол Гурандухт, потом Лекю, потом Гулкан и Нико, Назиброла села по правую руку от гостя, против них — Елена с дочерьми. Дальше стол оставался пустым; длинный, наследственный стол орехового дерева. Меньше пятидесяти человек никогда за него не садились во времена великого Арджевана, рассчитан был он более чем на пятьдесят персон, но во всю длину его никогда не накрывали, собирались в одной части и смотрели на остальную, вспоминали, представляли точнее, кто где сидел, кто как шутил, кто как пил, кто как ел, кто ерпенился, кто скромничал, вспоминали о спорах или развлеченьях. Вспоминали, пускали слезу, смеялись или грызлись, если не сходились во мнении. Одним словом, по-разному вспоминали минувшие дни, Гурандухт не вмешивалась, а когда вмешивалась — не то что другие, сама Гулкан не смела перечить. Повод к началу спора давал большой турий рог: то бишь пререкания о том, кто и когда его выпил — Гулкан утверждала, что никто, кроме великого Арджевана. Назиброла с Еленой вспоминали и других: Елена — в первую руку своего мужа; Назиброла, не осмеливаясь упоминать имени супруга, называла шафера, жено своего шафера. Спор продолжался, доказательствам конца не было видно, а длинный турий рог лежал, вытянувшись на шкафу, большом шкафу, во всю его длину, кто знает, сколько времени прошло с тех пор, как в последний раз коснулись большого турьего рога чьи-то губы. И множество турьих рогов давно уже не наполнялось вином, сравнительно меньших, во по сути отпугивающе больших. Они лежали в шкафу, в шкафу для турьих рогов: всех размеров и форм, сколько их было — не перечить, впрочем, почему же, могу перечить и описать, это мне, во всяком случае, не трудно, но не приведи господь, нагнетает на вас тоску, нынче описания только ее и вызывают у читателя, почему же испытывать его терпение, для чего описывать формы и смкость рога, время и место его выдержки, кому это интересно — кем они приобретены, когда и где приобретены чужим и кому поднесены в дар?

Лекю вел стол, и Лекю пьянел... Он пьянел, озянел и озянов, не мог усидеть на одном месте, разошелся Лекю, распоясался, втиснулся между Ириной и Мари. Они тотчас поднялись (Гурандухт дала им знак, и они поднялись), попрощались сником головы, выпорхнули из зала, «Постойте, куда торопитесь?» — забеспокоился Лекю, но ему не ответили и даже не посмотрели в его сторону. Не велика беда! Он втиснулся между Зейнаб и Саломэ. Поднялись и они (Гурандухт подала знак и они поднялись тотчас же), поклонились, попрощались. «Куда торопитесь? Почему? Или спать собрались, не маленькая же», — пристыдил их Лекю, но они не обратили на него внимания и ушли, тогда он не долго думая подсел к Елене («она еще, мол, ничего себе, хотя в возрасте, печать бывшего очарования по-прежнему лежит на ней»). Поклонилась и Елена, с достоинством покинула залу. Он и бровью не повед, тотчас же очутился рядом с Назибролой, не успел сесть, за-

шла и Назиброла. Мутным взглядом обвел Леко стол, но не настолько помутнел его взгляд, чтобы снова усесться между Гулкан и Пурандухт, заговорило в душе его упрямое желание, вспыхнуло желание пуститься влогонку за ушедшими. Но не посмел, не осмелился, пальцы на его руках скрючились, заходили перед помутневшими глазами, словно он собирался их выколоть или изодрать себе ногтями щеки. Он не прикоснулся ни к глазам, ни к щекам, сжал в кулак скрюченные пальцы и во весь голос заявил, что пока он, Леко Таташели, не произнес главного тоста.

— Изволь, — откликнулась Пурандухт.

— Изволить? — Леко мутным взглядом оглядел стол, недоуменно пожал плечами: «для кого говорить-то, опустел стол».

— Девушкам время отдыхать, — пояснила придерживающаяся строгих правил бабушка.

— Женщинам?!

— Для них время... уже время, — она произнесла это так, нетрудно было понять, что вскоре поднимутся все.

— Пойдите, — вскрикнул Леко, вскрикнул и подбежал к шкафу для рогов, перевернул все внутри, так бы и застрал в шкафу, если бы Гулкан не пришла на помощь.

— Что ищешь?! Взгляни наверх! — таким образом пришла ему на помощь Гулкан, он посмотрел наверх, лицо у него посветлело («Именно это я и искал»); он встал на цыпочки, стащил огромный рог, поцеловал его, обхватил обеими руками, поставил на пол острием, приказал наливать вино. Немно наполнил рог и отшел в страхе, отошел подальше, к концу стола, надали рог казался менее страшным.

— Я начинаю, — важно заявил Леко, заявил и выпятил глаза, — все, что я до сих пор сказал, уже сказано, а что скажу сейчас, то и будет главным. Я не мастер загадки загадывать и прямо скажу, чей тост поднимаю. Пью за вашего Бека, за нашего Бека. Его мать должна бы выслушать этот тост, но, коли она пожелала отдохнуть, пусть отдыхает, выслушайте вы благосклонно, выслушайте похвалу Бека, который вскоре выйдет из своей крепости, забудет в колокола и возвестит миру о Воскресении. Он уже не один, вот наш гость, этот скромный юноша рядом с ним встанет...

— Господин Леко! — Нико подался вперед, умоляющие нотки прозвучали в его голосе, и руки умоляюще он вперед протанул.

— Не бойся, — успокоил его Леко, — здесь посторонних никого, не бойся. Меня зовут Леко Таташели, и потому зовут меня Леко Таташели, что в неподобающем месте ничего у меня с языка не сорвется, здесь говорить можно, я и говорю, какая обязанность лежит на тебе, какую обязанность мы на себя взяли, да, мы взяли, поскольку и я с вами, и я знаю, где можно говорить, а где нельзя...

— Милостивый государь...

— Постой...

— Нет.

— Тогда говори сам, тебе передаю этот рог, — он обеими руками поднял чудище и протянул его нашему герою.

впрочем, и поднимать его было не к чему, и так достигал ^{до} груди Нико.

— Вот что я скажу. Ложь, неправда все, какое-то недоразумение, отчего не знаю. Я тут ни при чем, никакого повода к тому не давал, никому никакого повода. Не знаю, что мне приписывают и почему, взглянуть на вас, не знаю, не понимаю, я приехал только затем, чтобы собрать песни.

— Держи рог...

— Я приехал только затем, чтобы собрать песни, но Элизбар Хетарели объяснил...

— Возьми рог, тебе говорят.

— Но Элизбар Хетарели мне объяснил, что сейчас не время для этого, и посоветовал уехать.

— Кто смеет столько говорить и не пить?!

— Посоветовал уехать. Но мне никак не удастся уехать, и плетут вокруг меня какие-то сказки, какие-то невероятные истории.

— Вино, говорю, рог, говорю, возьми — без этого нельзя за столом у Лекю Таташели!

— Невероятные истории. Господин Лекю должен мне помочь, развеять эти сказки, а он...

— Довольно...

— Нет, я сказал, в конце концов, мы должны твердо договориться.

— И я сказал, и место назначили... Здесь стол... гости. Я сейчас начинаю, и кто не замолчит, плесну в лицо вино.

— Лекю! — рассердилась Турандухт.

— Тогда пускай замолчит, — смягчился Лекю.

— Я замолчу, но знайте, я приехал только лишь затем, чтобы собрать песни.

— Ладно... Якобы мы верим... Пусть так... я пью за Бена, — и он продолжил свою похвальную речь или повествование, трудно повторить, здесь была похвала многим и многим, в особенности самому себе; были воспоминания, воспоминания о многих и многих, особенно о собственных приключениях: они, разумеется, были героическими, эти приключения, сам Лекю всегда выручал кого-нибудь из беды, ясно. Оброс тост всякими разными мелочами, бредовыми атрибутами самовосхваления и самоувлечения и под конец превратился в совершенный бред. Обивалось слово, человека начало отходить в сторону, раскачивался туркий рог, который давно уже никто не осушал, быть может, вообще никогда не осушали, но мучать и прежде мучали и впредь многие еще помучают... А Лекю по-прежнему держал рог, смотрел на рубиновое вино и бредил, когда же дошел, как говорится, до ручки, сам себя утопил бредом, невесть какою чудом углубилась отчетливо выдавить сквозь зубы: «Да уничтожатся враги ваши так, как я уничтожу это вино» — и припал к рогу; вернее, думал, что претал: в два потка лилось вино за шею, за пазуху, на грудь, обливало руки, все равно не убывало, бездонным был рог, вино клокотало, расплескивалось, волновалось, бормотало, булькало, обливало лицо, наполняло глаза, пищало в ноздрях, лилось снова, несло с собой запах далеких пещер, дальних прохладных пещер, таких же прохладных, какой была сама

прохлада, необходимая для хранения вина в жаркие дни: несло вино запах, несло прохладу и молчанье, шломотало, бормотало, текло по плечам, булькало в горле... Завертелся, закружился рог, ни шломотания, ни бормотания, ни бульканья, ни тишины дальних прохладных пещер — закружился рог, и человек закружился, закружился потолок и пол, стол поднялся на потолок, перекувырнулись Гурандухт и Гулкан, потом он сам очутился на потолке, Нико снизу умолял его спуститься, не уласть, обещал ни слова ему не говорить больше, не упорствовать... Потом, потом он ничего не видел, никаких видений, одолел его рог, грохнулся Лeko навзничь. Лежал Лeko Таташели, поконлся на пруди его рог, бормотал что-то любовно, но Лeko уже не слышал его бормотания, он не принадлежал уже к миру сему... Стояла рубиновая лужа, в рубиновой луже валялся человек.

XI

Не век же ему было там лежать, разумеется, подняли и свели или, точнее, снесли в отведенную для него комнату, снесли, сняли промокшую одежду и накрыли одеялом. Нико вместе с другими стоял возле него, потом блуждал по балкону, хотел вернуться, разуведить их, но с ними попрощались, пожалели спокойной ночи, извинились за Лeko, нельзя было возвращаться, беспокоить людей... Но из того же извинения явствовало, что они в самом деле поверили в его высокую миссию, в слова Гурандухт звучал упрек: «неужели вы не знали Лeko, доверились болтуну». Тайный смысл этих слов он понял только на балконе, в зале ему ничего подобного не пришло в голову, извинение звучало как извинение и только, извинение за испорченный вечер, но «мы тем не менее очень рады знакомству, подобные недоразумения не следует принимать близко к сердцу, а нас вы, пожалуйста, простите» — эти слова он слышал, так они и были произнесены. Откуда же упрек? Нико долго думал, ломал себе голову, ничего не понял, или к чему было понимать, прокрался упрек в слова. Поверили Лeko, а не ему, поверили неправому, а не правому?! Каким же образом, каким манером их разуведить?! Быть может, они пока не заснули, может, и они бодрствуют, рассуждают и недовольны тем, что человек, исполненный тайных мыслей, обрел приют в их доме, может, они не могут решить, как от него избавиться, а хотят, очень хотят и уже послали человека к Бека?! А?! В какую же это си заварушку попал, в какую беду?! К черту деликатность! Пускай они пожелаели спокойной ночи! Он немедленно должен объяснить, разуведить, иначе со временем все труднее будет сделать это, возникнет подозрительность, пустит корни, взойдет порослью и он не сможет уничтожить превратившееся в поросль подозрение, сейчас же...

И пустился, впрямь чустился, одним прыжком одолел несколько ступенек лестницы, одолел да недалеко ушел: что-то внезапно зарычало и набросилось на него с одной, другой сто-

роны, он оцепенел от страха, страх швырнул его наземь, встал, поднял и швырнул, но есть страх и другого рода, он заставляет бежать, и много разных разновидей заставляет совершить страх, но в этот раз он с белым светом заставил бы его распрощаться, разве что по кусочкам собрали бы молодого композитора, отправившегося в путешествие за народными песнями; растерзали бы его собаки, разорвали на мелкие части, оглодали кости. Слава господу, страх бросил его наземь. На упавшего они бы не набросились, нет, обычай этот у них сохранился, не выветрился рыцарский дух, все изменилось, пересоздалось — собаки не менялись и как прежде сразились бы с тем, кто стоит на ногах, оставили бы в покое павшего, оставили бы с достоинством, с достоинством стали бы ждать, пока он переведет дух, соберется с силами, мужество не позволит вступить в схватку с поверженным. Гость бог весть когда переведет дух, соберется с силами, бог весть когда надумает, что предпринять, — впрочем, что он мог придумать, кроме как возвратиться домой, но, чтобы вернуться, надо было вытаться и подняться, они тут же его опрокинут или не опрокинут, разорвут просто. Лучше было валяться неподвижно, валяться у лестницы, съежиться, изогнуться, как-нибудь спрятать лицо, чтобы спасти хотя бы лицо, если, скажем, разорвут тело, потощител у них терпение и разорвут; лучше валяться и мечтать, чтобы не истощалось терпение у псов Арджевнали. Впрочем, не собаки, так страх уничтожил бы его, уничтожил бы, а нас же — разве умолкли псы, разве окаменели в ожидании, нет, конечно, рычали непрерывно, рычали душераздирающе, горлой щелкали зубами, ерзали, причмокивали, словно туши вкус теплой крови. Надо выдержать, надо вынести, но до каких пор? Впереди была ночь, не очень светлая ночь, развеясся ли облака, но что толку, какой бы ни была та ужасная ночь, темной или светлой, что толку?!

Перевод Нодара ТАРХВИШВИЛИ

Окончание следует

ИЗ ПОЭМЫ «РУССКОЕ СЕРДЦЕ»

(КНИГА ВТОРАЯ)

I. Беседа с Ваню Телиа

Мы как будто расстались всего лишь
 Накануне — у Волги, вот здесь...
 Разве сходу расскажешь и вспомнишь
 Все, что в сердце живет и по днесь:

А ведь годы промчались недаром,
 Как крылатых ветров череда...
 Но в бореньях с огнем
сталеварам
 Не устать, не стареть никогда!

Я из этого братства — порука
 В том, что я не останусь один,
 Что изведал я все, но — не скуку,
 Не бессилье, не горечь седни.

Когда утро Рустава привстанет,
 Я к заводу спешу, где—родня.
 И гудит моя печь неустанно,
 Та, что мастером числит меня.

Стал мне плотью и сущностью
милый

Город стали и братства.
И вот
 Я считаю, что дивные силы
 Его мощная жизнь мне дает,

Без него задохнусь я!
Короче:

Даже эта звезда,
до утра
 Коротаящая с ним ночи,
 Мне близка, как родная сестра!

Здесь братается сорок наречий,
Полюбились Грузии так,
Что возносятся солнцу навстречу
Песни на сорока языках.

Это солнце нам поровну светит,
Всех дарит добротою лица,
Ну а если пронзает нас ветер, —
Согревают друг друга сердца!

И в руставца я верю недаром,
Мной бездельник презретен вконец,
И душа закаляется жаром —
Чистым пламенем братских сердец.

II. У истоков Волги

Тот, кто в жизни своей
среди буден
Помнит грозных сражений дым,
Разве прошлое позабудет,
Разве сможет проститься с ним?

Ну а вы бы снести могли бы,
Примирились бы, например,
С тем, что давит вас, точно глыба,
Слово странное — пенсионер?!

Распростившись с родным заводом,
Вечный труженик дому не рад,
Он живет, как перед походом
Самым дальним своим — солдат:

Перед дальним путем простится
Он со всем, что оставит тут...

Верно — юность не возвратится,
Но ведь есть и другой маршрут!

Есть и подвиг другой, и трудность,
Увлеченность, волнение, бой:
Надо, чтобы познала юность
Мудрость, нажитую тобой...

Ах, как тяжело Фролову стало,
Когда отдых его настиг,
Разве выглядит он усталым?
Разве скажешь, что он старик?

Пусть другие к успехам новым
Цех ведут, как учил он их.
Но народ поручил Фролову
Быть наставником молодых!

Вот — и место его, и счастье,
И (который по счету год?)
Поднимается старый мастер
До рассвета
и — на завод,

Он идет по-над волжским плесом
Спокойным своим путем,
Он покажет своим безусым,
Как начальствовать над огнем...

...Я гостил у Ивана Фролова
В прошлом, памятном мне году,
Не успел я сказать ни слова —
Он обнял меня на ходу.

Шел он по-молодому бодро,
Богатырски — как прежде шел,
И повел он меня к заводу,
И к ребятам своим повел.

Задержались мы с ним невольно,
Чтобы выправить пропуск мой.
Ах, как стало вдруг сердцу больно:
Новый сторож у проходной!

— Старика мы похоронили
Среди павших в бою солдат,
Мы ушедших не позабыли,
Имена их в сердцах горят,

Помним все — имена и даты,
Но живем не вчерашним днем,
Умираем мы, как солдаты,
Как солдаты, в огонь идем.

Будет жалко, простясь со светом,
Знать, что — все уже... не судьба...
Но ведь дом этой жизни светлой
Строим не для одних себя.

Вот и я ведь — мечтал и мечтаю
О грядущем земли моей...
Смерть не властна, я так считаю,
Над строителем этих дней! —

Так сказал он, шагая круто,
Улыбнулся даже светло,

Но почувствовал я почему-то:
Видно, мастеру тяжело...

А завод грохотал знакомо,
Баррикады пройдя, бои,
И казался родным домом,
И объятья раскрыл свои.



Перевод Леонида ТЕМНА

Эпитафия зодчему Светицховели

С детских лет, почти с колыбели,
Я стремился к единой цели...
Создал я лишь — Светицховели!

Я, тесавший столпы и плиты,
Не имел родни именитой,
Не наследовал дом и титул.

Не обласкан судьбой и богом,
И, доступен страстям и тревогам,
Я прошел по земным дорогам.

И отверг тишины обитель,
Я, искатель и тайнозритель,
Я, ваятель, резца вонтель.

Голодал — не прельщался едою.
Высекал... и ломал черновое,
Над скалой поникал головою.

Сколько раз был мой дар на закате!
Но, изведавший боль распятыя,
Свет из камня умел извлекать я.

И, корнями в камень врезаясь,
Распустилась орнамента завязь.
Храм родился... и черная зависть.

И кому понести кручину?
Ведь не смог распознать я личину,
И учитель меня отринул.

Обольщенный славой былою,
Преисполнился завистью злою,
И в глаза мне плеснул золою.

Значит, недругом был — не другом,
Не любил, а следил с испугом,
Да воздаст ему бог по заслугам!

Разлилось злоязычье людское:
— Отчего не дашь нам покоя,
И зачем ты построил такое?!

Мне мечом преподали науку,
Отрубили на площади руку...
Царь и бог эту видели муку.

Кто же ты, без руки, зодчий?
Что косарь без косы, день без ночи,
Словно сын без любви отчей.

Словно брат без сестры милой,
Словно лук без стрелы, вихрь без силы,
Дом без двери, без крови — жилы.

Дуб без листьев, олень без лани,
Колыбельная без качанья
И любимая без свиданья.

...Краски в камне все ярче горели!
Я оставил вам Светицховели,
Не мечтал я о большем уделе.

Мой народ, ты расправишь крылья,
Сыновой освящая устья,
Гордых замыслов изобилье.

Дай искать и мечтать, и страдать им,
Освещая гореньем затемь,
И, смотри, не утрать благодати!

Лишь достойному дай воплотиться,
Пусть отсеченной этой десницей
Все отмеченное благословится!

О, рука моя, жив пример твой,
Будь же ты единственной жертвой,
Охраняя от чаши смертной!

Ведь потом сожалеть будет поздно,
И душою скорбеть будет поздно,
И любить будет поздно, поздно!

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Спаситель грузинской
лозы

Его называли:

«Наш Лад»...

Подвиг «красного
губернатора»

Любимец народа,
его верный защитник
и трибун

По заданию боль-
шевистской партии

Боевой соратник

Ильича

Навечно в сердце

Грузии

В КОНЦЕ прошлого столетия на виноградники Грузии обрушилась беда. По непонятным причинам эта веками утвердившаяся сельскохозяйственная культура страны стала вымирать. Сначала страшной участи подверглись виноградники Западной Грузии — Имерети, а вскоре симптомы страшной болезни обнаружались и на виноградниках Восточной Грузии. Грузия без винограда, без виноградарства — это почти равносильно тому, что Грузия осталась бы без Грузии. Виноградарство на протяжении многих веков было основой грузинской экономики, определявшей социальный, политический и культурный характер страны. И конечно, не случайно, многочисленные завоеватели на протяжении столетий упорно старались уничтожить виноград в Грузии как начало грузинской самобытности.

В тяжелой многовековой борьбе грузинский народ не только физически выстоял, но и сумел сохранить свое сокровище — виноград. Больше того, грузинский народ в тяжелейших условиях сумел создать более пятисот его великолепных сортов. Не лишне напомнить: ни одна страна мира не имеет даже половины такого количества местных сортов винограда.

Нужно ли объяснять, какой трагедией для Грузии обернулась бы гибель виноградников? Ни местные, ни иностранные специалисты ничем не могли помочь — виноград катастрофически вымирал. Царское правительство уже готовило указ о вырубке всех виноградников в Грузии, чтобы на их месте развести другие культуры. Даже многие видные специалисты склонялись к этой мысли.

Но точка зрения молодого агронома Владимира Александровича Старосельского, хорошо знавшего значение виноградной лозы для грузинского крестьянина, резко противостояла общепринятому мнению. Он высказал ее в четкой научной формулировке: «Экономическая возможность введения в хозяйство того либо другого растения обуславливается не только известным соответствием почвенных и климатических условий, но и целым рядом других факторов, в основе которых лежит характер населения, его рабочая и экономическая правоспособность, размеры землевладения, порядок и обычай пользования землей и проч. Игнорирование этих факторов всегда приводит к отрицательным результатам и вселяет в население недоверие ко всяким нововведениям».

Агроном В. А. Старосельский включился в отчаянную борьбу за спасение грузинского винограда. После долгих и упорных наблюдений, опытов, исследований, разочарований и удач Владимир Александрович нашел путь к спасению грузинского винограда. Как все истинные открытия, открытие Старосельского оказалось необычайно «простым»: он начал прививать местные сорта винограда на подвой американского винограда и тем самым обезвредил филлоксеру — крохотную тлю, которая в несчетном количестве проникала в корни и стебли местного винограда, высасывая его соки, приводя к гибели. Лоза же американского винограда оказалась филлоксероустойчивой. Причем местный сорт, привитый таким образом, несколько не терял своих лучших качеств. Это было блестящей победой молодого агронома...

Но, чтобы окончательно утвердить свой метод лечения, нужно было преодолеть немало препятствий: тугодумность царских чиновников, бюрократизм, технические трудности и, наконец, недоверие населения. Измученному борьбой с филлоксерой грузинскому крестьянину нелегко было поверить в свершившееся чудо. Но мужественный и талантливый молодой агроном делал все возможное. Недалеко от Кутанси, в селении Сакара, он основал опытную станцию по прививке виноградных лоз на американские подвой. При станции были оборудованы химическая лаборатория, микологический кабинет, метеостанция и т. д. Был заложен и питомник американской виноградной лозы. Затем Старосельский основал специальные курсы, школу, множество опорных пунктов, в которых виноградари Грузии обучались методам борьбы с филлоксерой. Но Владимир Алек-

сандрович не довольствовался и этим: лично обходит деревни, учит, наставлял, советовал и подбадривал трудовой народ. Он выучил грузинский язык и с крестьянами беседовал на их родном языке. И это в то время, когда царизм грубо попирает все нерусское.

Трудовая Грузия боготворила своего спасителя. Известно боготворила! Крестьяне ласково называли его «чвени Ладо» — «наш Ладо». А ведь только по имени в Грузии издавна уважают лишь тех, кому хотят выразить свою особую любовь и глубочайшее уважение. Из великих сынов родины в XIX веке только трое — Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели и Важа Пшавела были удостоены высокой чести быть названными родным народом только по имени: Илья, Акаки, Важа! Так грузинский народ имя Владимира Александровича Старосельского в своей беспредельной любви к нему поставил в один ряд с великими сынами Грузии.

Кто же этот удивительный человек, откуда родом, каков образ его судьба переплелась с Грузией?

О Владимире Александровиче Старосельском в последние годы писали немало, но это в основном были публикации архивных материалов. Личность же Старосельского, яркая, исключительная, несомненно, заслуживает большего.

13 ноября 1861 года в Чернигове в семье дворянина Александра Старосельского и Камиллы Домбровской родился сын — Владимир. Отец Володи до 1850 года был военным, а затем мелким чиновником судебных органов в разных краях России, а также и в Грузии; в последние годы жизни он был судьей в Майкопском уезде. Александра Семёновича Старосельского все знали как честного и трудолюбивого человека.

Дядя Володи, родной брат его отца — Дмитрий Семёнович Старосельский, был женат на Екатерине Гурамишвили, которая была родной сестрой жены Ильи Чавчавадзе — Ольги Гурамишвили. Дмитрий Старосельский всю жизнь занимал высокие посты: был бакинским губернатором, заместителем наместника царя на Кавказе, сенатором. Он был в близких отношениях с Ильей Чавчавадзе и с другими передовыми общественными деятелями Грузии и явно симпатизировал национально-освободительной борьбе грузинских революционных деятелей.

Александр Старосельский со своей семьей часто гостил у Ильи Чавчавадзе в Сагурамо. Нетрудно представить, какие впечатления могли произвести эти встречи в Сагурамо на юного Володю — не кто-нибудь иной, а сам вождь национально-освободительного движения Грузии Илья Чавчавадзе радушно принимал у себя Старосельских.

Нелишне вспомнить и то, что дед Володи, Семен Старосельский, в свое время поручик Вятского пехотного полка (которым командовал П. И. Пестель), как декабрист, был арестован и пребывал в длительном заключении. Обессиленный, он скончался на второй же день после освобождения.

Вот коротенькая родословная Владимира Александровича. Добавим к этому, что сам Володя обладал врожденным

чувством справедливости, был трудолюбив, требователен и энергичен. Во время учебы в Ставропольской гимназии он был душой гимназистов, не только отлично учился, но и проявлял организаторские способности, создавал различные кружки. «Он был нашим предводителем, душой и сердцем, и все мы шли за ним», — вспоминал о нем его одноклассник Н. Н. Диллер.

После успешного окончания гимназии Владимир Александрович продолжил учебу в Петровской земледельческой и лесной Академии в Москве, полный курс которой окончил в 1885 году. Затем его направили сначала в Черноморский округ, а с конца 1888 года в Грузию. Здесь и разворачивается его большая агрономическая работа, о которой говорилось выше.

Владимир Старосельский — глубоко и многосторонне образованный ученый, его перу принадлежат важные научные труды не только по узкой специальности — виноградарству, но и ценные исследования по экономике и истории Грузии, работы о революции 1905 года в Грузии, которые и по сей день не потеряли научного значения.

1905 год. В огромной империи — «тюрьме народов» — вспыхнуло пламя революции! Одной из самых «горячих» ее точек была Грузия, точнее — западная часть страны, именуемая Кутаисской губернией. Мужественная, беспощадная борьба трудящихся Грузии вынудила царское правительство изменить тактику борьбы с революцией. Испытав жестокие поражения, царские власти больше не решались усмирить ее огнем. Они надеялись путем лживых посулов усмирить революционный дух поставшего народа, разбить силы революции, а затем мощным ударом уничтожить их. Как ни парадоксально, именно для этой цели пост кутаисского губернатора и предложили Владимиру Александровичу Старосельскому. Лишь после совещаний с социал-демократами (большевиками) и по их совету Старосельский решил занять его. Но, как обязательное условие, он предложил правительству свою программу управления губернией. «Содержание записки было таково, что по ознакомлении с нею социал-демократический комитет заявил Старосельскому, что он скорее попадет в тюрьму, чем в губернаторы, так как записка эта заключала в себе все требования социал-демократической программы», — писал заведующий заграничной департаменту полиции позже.

До сих пор не выяснено, как этот революционный документ согласился подписать наместник цари на Кавказе граф Н. И. Воронцов-Дашков, ошибся или просто руководствовался другими соображениями.

9 июля 1905 года был издан указ императора: «Старшему агроному Главного управления землеустройства и земледелия на Кавказе, коллежскому советнику Старосельскому всемплощаднейше повелеваем быть исправляющим должность кутаисского губернатора».

На прощальном обеде, устроенном бывшему заведующему Сакарским питомником, присутствовало более 200 человек. «Было произнесено много теплых и прочувствованных слов...

Грузинский писатель Г. Хускивадзе свою речь закончил так: «Назначение ваше, Владимир Александрович, на пост губернатора было так неожиданно в такое тяжелое время, что знавало много толков. Но конец всему этому положит будущая ваша деятельность... Вы первый губернатор, так близко знающий все болячки нашего народа, вы первый губернатор, любящий мужика во всей его наготе, — и все это даст вам уверенность в том, что диагноз, поставленный вами, будет вполне правилен для излечения политических и экономических недугов населения нашей губернии. Итак, пожелаем вам, Владимир Александрович, быть предтечею желанной и чарующей весны».

Чудеса творились в Кутаисской губернии!

В центре города демонстранты заставили полицейстера поцеловать «красный флаг, на котором было написано: «Дальней самодержавие! Да здравствует республика!». А губернатор Старосельский, наблюдавший эту сцену с паперти собора, заплакал в ладоши и закричал: «Браво, браво!». Эти слова подхватила толпа и тоже стала аплодировать. А потом подняла на руки губернатора Старосельского и понесла его на руках от собора на бульвар, где после был другой митинг.

Губернатор Старосельский докладывал наместнику царя, что в Кутаиси «...городская охрана образована из лиц выборных и пользующихся доверием населения в составе 60 человек». Позже об этом писали: «На самом деле эти «выборные» и «пользующиеся доверием населения» 60 человек были членами одной из «красных сотен» грузинских боевиков социал-демократов.

Курьезная картина получалась при встречах губернатора Старосельского с теми, кто охранял его. Сперва охранники отдавал губернатору честь по-военному, а затем кричал: «Гамиджоба, Ладол!» («Здравствуй, Володя!»)... «Вместо полиции — свои боевики, губернатор — «товарищ», военное положение отменено, сочувствие массы и передовой интеллигенции — в стороне революции. Это ли не подходящий момент? И революционеры его использовали: на улицах Кутаиси появились баррикады!».

Ошарашенный происходящим, начальник полиции на Кавказе доносил наместнику: «В Кутаисской губернии политическое состояние приняло характер не просто «анархии», а какого-то особого государства из самоуправляющихся революционных общин, признающих лишь власть революционных комитетов... Происходящие в Кутаисской губернии события настолько поразительны на общем фоне государственного стресса империи, что иностранцы специально приезжают на Кавказ с целью ознакомиться на месте с новыми формами русской государственности».

Владимир Александрович Старосельский прекрасно понимал, что такое его правление должн быть не может, и поэтому очень торопился сделать как можно больше для народа. Он был всюду — на митингах у бастующих рабочих и железно-дорожников, с восставшими крестьянами в дальних краях Гу-

бернии. И везде обходился без всякой охраны. Восставший народ и был самой надежной охраной Старосельского. Все «красном губернаторе» кипело революцией, даже в его доме была устроена типография, где печатались листовки и другая революционная литература.

«Красный губернатор», «губернатор-революционер», «наш губернатор», «президент республики» — говорили о Старосельском в народе. «Товарищ губернатор» — так назвал Старосельского Владимир Ильич Ленин.

А агенты полиции доносили: «Будучи издавна по убеждениям социал-демократом, большевиком, Старосельский принимал деятельное участие в работах местного комитета и хотя стоял вне партии, но это ввиду его служебного положения».

Губернаторство Старосельского все время шло во взаимной работе с комитетом; последний за это время улучшил свои связи, расширил организацию, завел целый арсенал бомб и взрывчатых веществ, ввел баррикадную технику, дающую возможность городу в течение 10 минут покрываться баррикадами.

Революция своего зенита в Грузии достигла к концу октября. К этому времени фактически вся так называемая Кутанская губерния — Западная Грузия представляла революционную республику, действительным президентом которой был Владимир Александрович Старосельский.

Царские власти поняли — дальше медлить нельзя. В Западную Грузию были направлены крупные карательные силы. Старосельский немедленно выехал в Тбилиси на специальном поезде. Так как движение по всей железной дороге было прервано ввиду забастовки железнодорожников, Старосельскому был выделен этот поезд.

В Тбилиси Старосельскому удалось уговорить наместника, и тот изменил решение. Карателей отозвали. Были спасены сотни, тысячи невинных жизней. Узнав об этой большой победе Старосельского, более десяти тысяч тбилисцев вышли на вокзал провожать народного любимца. На всем пути от Тбилиси до Кутанси поезд Старосельского украшали цветами, красными флагами и революционными лозунгами! На всех станциях Старосельского встречали как истинного героя с красными флагами, песнями, цветами, музыкой!...

И все-таки реакционные силы на этот раз добились своего. 8 января 1906 года Николай II писал своему наместнику на Кавказе: «...Вот о ком я считаю нужным сказать крепкое слово — это о Кутанс. губер. Старосельском. По всем полученным мною сведениям он настоящий революционер, поддерживающий с тою партией (большевиками. — З. Р.) открытые сношения. Понистине место его... на хорошей ниве! Пример был бы благотворительный для многих». 21 января по указу императора Старосельский был уволен с поста губернатора. Вместе с ним уволили и вице-губернатора А. Кишидзе — верного соратника Владимира Александровича. А вскоре Старосельского с семьей выслали из Грузии. В 1907 году в Екатеринодаре он уже официально вступил в большевистскую партию и

был избран секретарем Кубанского комитета РСДРП, а затем председателем Северо-Кавказского союзного комитета партии.

В годы черной реакции Владимир Александрович Старосельский вел пламенную агитацию в защиту Грузии, пылающей пожарами карателей: «Вы слышите, русские граждане, вопли жертв... мужей, отцов, братьев! Вы знаете, за что постигла несчастных дикая кара?»

За то, что грузины сознательно и неуклонно, не щадя себя, шли по пути к осуществлению свободы, за то, что, чуждые сепаратизма, они требовали свободы для всей России. Откликнитесь, русские граждане! Ваши братья-грузины ждут по праву вашего сочувствия; не причиняйте им нового страдания — разочарования в братских чувствах, пережив которое, они отвернутся от вас.

Молчание ужаснее всего!

Дикая расправа в Грузии не вызывалась необходимостью. Во времена нашествия умиротворителей край жил более культурной жизнью, нежели когда бы то ни было.

Умиротворители внесли пожары и убийства, тюрьмы и ссылки.

Ничто не могло предотвратить ужасов. Навстречу грозным войскам шли толпы с белыми флагами; нигде население не оказало сопротивления...

Зачем же варварская расправа? Зачем?

Откликнитесь, русские граждане, скажите ваше слово! Заклеймите виновных и ответственных. Объединитесь на требования суда».

А в другой газете он писал: «Грузинский народ очень культурный и с весьма развитым правосознанием. Народная борьба у них вполне сознательна...

Я повторю, всякие обвинения Грузии в сепаратизме ложны. Движение в Грузии будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать общерусское движение. С ним вместе оно началось, с ним оно и прекратится».

Большая партийная деятельность В. А. Старосельского приводила в бешенство царские власти. За каждым его шагом следили, устраняли засады, обыски. 9 февраля 1908 года министр внутренних дел В. А. Столыпин докладывал императору: «7 февраля в гор. Екатеринодаре в помещении профессионального союза портных застигнута сходка из 17 представителей Северо-Кавказского социал-демократического союза, в числе которых оказался бывший кутаисский губернатор Старосельский, который, по агентурным сведениям, стоит во главе означенного союза».

Об изложенном долгом считаю всеподданнейше доложить Вашему императорскому величеству».

На подлиннике этого документа есть следующая надпись самого императора: «Надеюсь, он арестован и будет привлечен к ответственности».

Однако благодаря бдительности друзей Владимир Александрович чудом спасся. Буквально перед носом полиции, в

которая пришла его арестовать, Старосельскому удалось скрыться. Дальнейшее его пребывание в России стало невозможным. Он вынужден был эмигрировать во Францию. На родине осталась многочисленная семья: жена и четыре дочери.

И вдали от родины Владимир Александрович не прекращал активной партийной деятельности. Живя в Париже, он принимал деятельное участие в работе русских большевистко-эмигрантов. Партийные товарищи, да и все, кто близко знал этого замечательного человека, высоко ценили и глубоко уважали его.

А ищейки царизма непрерывно доносили, где, когда, с кем и сколько раз встречались большевики, кто о чем говорил, о чем спорил, что читал. В таких донесениях наряду с другими большевиками имя Старосельского постоянно упоминается рядом с именем В. И. Ленина.

«Я могу с полной уверенностью констатировать, что Владимир Ильич Ленин также относился к Владимиру Александровичу с большим уважением и очень ценил его», — писал А. В. Луначарский.

В эмиграции Владимир Александрович жил в крайней нужде. Чтобы как-нибудь прокормиться, он организовал электротехнические курсы, занимался фотографией и др. Крайняя нужда не покидала его. 3 июля 1908 года А. М. Горький писал И. П. Ладьяшникову: «В Париже голодает Старосельский, сегодня послал ему 300 франков. Он, говорят, пишет свои заметки о кавказской революции. Его адрес — через дядю Мишу. Вы, думаю, могли бы помочь ему советом по изданию его работы, если не можете сами издать ее».

Тяжелая нужда, напряженная работа, одиночество вдали от родины резко ухудшили состояние здоровья Старосельского. В дальнейшем он женился и имел двух сыновей, но и новая семья требовала еще больших забот.

И несмотря на все трудности, Владимир Александрович ни на минуту не забывал любимую Грузию. В одном из донесений заграничной агентуре директору департамента полиции говорится: «В Париже за последнее время известным Старосельским, б. кутаисским губернатором, были прочитаны три реферата: первые два из них были преимущественно посвящены истории развития Грузии, а в последнем Старосельский исключительно говорил о «республике, президентом коей он являлся в течение 7 месяцев». Доклад этот содержал все подробности о «назначении и правлении» Старосельского».

Сам Владимир Александрович 20 сентября 1909 года писал одному издателю: «Моя работа в течение сентября продвинулась менее, нежели я ожидал. Причиной этому сильная невралгия лица, уступившая лишь энергичному вмешательству докторов Кервилли и Клеймана. Боли еще продолжаются, но работаю усиленно, чтобы нагнать пропуск».

Окончил: 1) общий обзор политической истории Грузии, выясняющий всестороннее влияние, определившие как государственный тип Грузии, так и причины, побуждавшие эту страну искать единения с Россией; 2) характеристику Грузии XVII—XVIII веков (государственный, общественный и право-

вой строй, сословия, в частности, крепостная зависимость), этно-
ответственный и нравственный уровень населения в конце XVII ве-
ка. Экономическое состояние.

Подготовил, т. е. обработал в общем материалы по землевла-
дению и землепользованию в Кутаисской и частью в Тиф-
лисской губерниях до и после крепостной реформы. Работу
усиленно, смогу закончить книгу через 6 месяцев».

И эту огромную работу, исследование около тридцати па-
чатых листов, Владимир Александрович завершил. Он всю
жизнь мечтал издать свой труд, но, к сожалению, это ему так
и не удалось. Сейчас рукопись, написанная мелким каллигра-
фическим почерком, хранится в Центральном государственном
архиве Грузинской ССР и, увы, по сей день ждет своего по-
дания.

Крайне напряженная жизнь окончательно подорвала его
здоровье. Владимир Александрович Старосельский скончался
26 августа 1916 года в Париже и похоронен на кладбище Пер-
Лашез.

Кончина Старосельского была огромной утратой для ме-
ждународного революционного движения. Именно поэтому мно-
гие российские, европейские и американские газеты помеща-
ли о нем некрологи. Но особо скорбила по поводу смерти по-
бимого героя Грузия — страна, ради счастья которой Владимир
Александрович Старосельский боролся до последнего вздоха.

Узник Заксенхаузена

Документальный очерк

ЕСТЬ НА СВЕТЕ места, где каждая пядь земли пропитана людскою мученической кровью. Таким местом стал во время минувшей войны расположенный под Берлином тихий дачный поселок Заксенхаузен. Там фашисты, вырубив вековой сосновый бор, устроили огромный концлагерь. В нем было расстреляно, сожжено, замучено свыше ста тысяч человек. Теперь им поставлено общее надгробье — гранитный обелиск. У его подножья — каменные фигуры двух узников и советского солдата — освободителя. А позади них — руины крематория и лагерной тюрьмы, сторожевые вышки, бараки...

Заксенхаузен был Голгофой для лучших сынов народов Европы. Сюда были согнаны на муку и смерть антифашисты девятнадцати европейских наций. Здесь томился и был расстрелян друг Тельмана, член подпольного ЦК Германской компартии Эрих Швеллер. Тут побывали в заключении Отто Гротеволь, Макс Рейман и Антонин Запотоцкий. Через застенки Заксенхаузена прошел негнбаемый советский патриот генерал Карбышев, зверски замученный гитлеровцами перед самым концом войны в другом их концлагере. В феврале 1945 года в Заксенхаузене был казнен один из руководителей лагерного антифашистского Сопротивления генерал-майор Семен Акимович Ткаченко. И тут же, в Заксенхаузене, погиб 14 апреля 1943 года старший лейтенант Яков Иосифович Джугашвили.



Яков Джугашвили

(Снимок из фондов Горьковского городского музея)

Вот уже свыше 30 лет на многолюдном весеннем празднике Победы мы воздаем почести ее творцам — живым и почившим, мы вновь называем их имена вне зависимости от армейских рангов, общественного положения, происхождения, места жительства. Мы вспоминаем и тех, кто оказался по несчастью в фашистской неволе и достойно пронес через ад гитлеровских концлагерей высокое звание советского человека. В этом отношении история гибели старшего лейтенанта Джугашвили при всем ее драматизме немногим отличается от трагических судеб других таких же лейтенантов, рядовых солдат, старших и младших офицеров, сохранивших верность Отчизне даже под пытками или перед лицом смерти в нацистском плену. Память о них жива и среди наших друзей далеко за пределами Советского Союза. 25 октября 1974 года газета американских коммунистов «Дейли уорлд» отмечала: «Во время второй мировой войны в числе многих советских военнопленных, которые предпочли погибнуть в Германии, лишь бы не предать свою социалистическую родину, был лейтенант Яков Джугашвили».

Никто не забыт и ничто не забыто — эта заповедь и побудила меня взяться за перо, когда однажды вдали от дома я получил доступ к немецким трофейным документам из архива государственного департамента США, где долгие годы держалась под секретом показания подручных Гимmlера о расстреле над старшим лейтенантом Джугашвили.

«Дело № Т-176»

В самом центре Вашингтона на 13-м этаже украшенного позолоченной колоннадой здания Национального архива США расположен специальный «Отдел трофейных иностранных документов». Там мне вручили после переговоров и консультации с госдепартаментом США полученное из его архива «Дело № Т-176». Оно содержит около 40 машинописных страниц на немецком языке. Только два документа составлены по-английски. Первый гласит:

«Вашингтон, 30 июня 1945 года, 2 часа по полудню. Телеграмма от исполняющего обязанности государственного секретаря США Грю послу США в СССР Гарриману.

Сейчас в Германии объединенная группа экспертов государственного департамента и британского министерства иностранных дел изучает важные германские секретные документы о том, как был застрелен сын Сталина, пытавшийся якобы совершить побег из концлагеря. На сей счет обнаружено: письмо Гимmlера к Риббентропу в связи с данными проистекающих фотографии, несколько страниц документации. Британское министерство иностранных дел рекомендовало английскому и американскому правительствам передать оригиналы указанных документов Сталину, а для этого поручить английскому послу в СССР Кларку Керру информировать о найденных докумен-

гах Малотова и попросить у Малотова совета, как наилучшим образом отдать документы Сталину. Кларк Керр мог бы заявить, что это совместная англо-американская находка, и презентовать ее от имени британского министерства и посольства США. Есть мнение, однако, что передачу документов следует произвести не от лица нашего посольства, а госдепартамента. Суждение посольства о способе вручения документов Сталину было бы желательно знать в госдепартаменте. Вы можете обратиться к Малотову, если сочтете это полезным. Действуйте сообща с Кларком Керром при наличии у него аналогичных инструкций.

Грюн.

Но через три недели американский посол в Москве получил новую директиву: ничего не сообщать руководящим советским деятелям о документах относительно гибели сына главы Советского правительства. 5 июля 1945 года эти документы доставили из Франкфурта-на-Майне в Вашингтон и с той поры скрывали их ото всех в засекреченном архиве госдепартамента. Лишь спустя почти четверть века архивариусы госдепартамента, готовясь рассекретить за давностью лет документы военного времени, заготовили в 1968 году нечто вроде справки в оправдание сокрытия «Дела № T-176». В справке говорится:

«После более тщательного изучения этого дела и его сути британское министерство иностранных дел предложило отвергнуть первоначальную идею передачи документов, которые по причине их неприятного содержания могли опорочить Сталина. Советским должностным лицам ничего не сообщили, и государственный департамент информировал посла Гарримана в телеграмме от 23 августа 1945 года, что достигнута договоренность не отдавать документы Сталину».

Неужто и впрямь боялись «опорочить»? Вот уж совсем не похоже на тех, кто после войны составили ближайшее окружение Черчилля и Трумэна. Вернее всего, их приближенные сами «опорочились», узнав из «Дела № T-176», что застреленный титлеровцами узник держался до конца как советский патриот. Кое-кого больше устраивали распущенные Геббельсом порочащие слухи о сыне главнокомандующего Красной Армией.

После войны на Западе было немало новых слухов и криволюков, будто Яков Дукоташвили живой и невредимый обнаружен то во Франции, то в Италии, то в Латинской Америке. Появились даже очевидцы, самозванцы. Было написано множество статей и несколько книг с домыслами и выдумками самого невероятного фантастического пошиба. Истину прятали между тем под семью запорами в засекреченных архивах. И проткрыли их лишь благодаря таянию льдов «холодной войны» и началу советско-американской оттепели. Что ж, лучше поздно, чем никогда...

Возвращаясь к весне 1945 года, стоит, наверное, вспомнить, как маршал Советского Союза Г. К. Жуков, описывая в

своих беседах встречу с И. В. Сталиным примерно за две недели до Победы, рассказывал:

«Я спросил:

— Товарищ Сталин, давно хотел узнать о вашем сыне Якове. Нет ли сведений о его судьбе?

На этот вопрос он ответил не сразу. Пройдя добрую сотню шагов, сказал каким-то приглушенным голосом:

— Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его душегубы. По наведенным справкам, держат они его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине.

Помолчав минуту, твердо добавил:

— Нет, Яков предпочтет любую смерть измене Родине.

Чувствовалось, что он глубоко переживает за сына. Сидя за столом, И. В. Сталин долго молчал, не притрагиваясь к еде. Потом, как бы продолжая свои размышления, с горечью произнес:

— Какая тяжелая война. Сколько она унесла жизней наших людей. Видимо, у нас мало останется семей, у которых не погибли близкие...».

Сталин не знал, что минуло уже два года, как его старшего сына нет в живых.

В советском Комитете ветеранов войны автору этих строк сообщили, что ныне покойный заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии генерал-лейтенант М. М. Пронин в свое время рассказывал, как вскоре после войны И. В. Сталин расспрашивал приехавшего в Москву Вильгельма Пика о судьбе своего сына. По словам Пронина, Вильгельм Пик тогда сказал:

— К сожалению, установлено лишь то, что Яков погиб в одном из нацистских концлагерей.

Теперь известно название этого концлагеря — Заксенхаузен. Известны и другие концлагеря, через которые прошел старший лейтенант Джугашвили. Известны обстоятельства его пленения и имена его убийц. Все это зафиксировано в «Деле № Т-176».

Первый допрос

«— Ваше имя?

— Яков.

— Вы являетесь родственником председателя Совета народных комиссаров?

— Да, старший сын Сталина...».

Так начинается стенограмма первого допроса военнопленного Якова Джугашвили. Допросом руководил майор германской армейской разведки Вальтер Холтерс, переведенный после войны американскими спецслужбами. Согласно показаниям Холтерса, в допросе участвовали также еще четверо работников абвера — кадровые офицеры и переводчики. До

прос состоялся 18 июля 1941 года, а пленник был захвачен 16 июля. Почему же его не допросили немедленно? Об этом в «Деле № Т-176» — ни слова. Лишь в наши дни сотрудники западногерманского журнала «Штерн», опросив в ФРГ всех причастных к делу Джугашвили уцелевших гитлеровцев, установили с их слов следующее:

«Пробыв первые дни в плену, Яков Джугашвили не был опознан, но потом какой-то военнопленный, полумертвый от голода, сообщил кому следовало имя старшего лейтенанта, чтобы получить от немецкой охраны еду и дополнительную паек».

Вечером 18 июля пленника спешно доставили самолетом в штаб фельдмаршала Клюге. В комнате, отведенной для допроса, разложили на большом столе кипы бумаг и карт, спрятав под ними микрофоны. Допрос тянулся долго: было задано почти полторы сотни вопросов. Сперва выпытывали обстоятельства пленения:

— Вы сдались добровольно или вас захватили силой?

— Нет, не добровольно, — был ответ. — Меня взяли силой.

Последовал град добавочных вопросов, на которые был дан такой ответ: «16 июля наша часть была окружена. Наши бойцы отбивались до последней возможности. Потом возле меня никого не осталось. Я решил найти командира дивизии, но командира не оказалось возле его автомобиля. Вокруг машины собрались красноармейцы из вспомогательных подразделений. Они все обратились ко мне: «Командир, веди нас в атаку!». Я повел их в атаку. Началась сильная бомбежка. Затем — ураганный артобстрел. И снова я очутился один. Я собирался пробиться все же к своим и уйти вместе с ними. Но тут наши окружили меня вдруг со всех сторон...».

— Откровенно говоря, — сказал пленник, — я бы застрелился, если бы своевременно обнаружил, что полностью изолирован от своих.

— Считаете плен позором?

— Да, считаю позором...

— С отцом о чем-либо говорили в самый канун войны?

— Да, последний раз 22 июня.

— Что сказал ваш отец при расставании 22 июня?

— Сказал: «Иди и сражайся».

Яков Джугашвили ушел на фронт спустя двое суток после начала войны. Он попал прямо на передовую в грозные дни прорыва гитлеровцев под Витебском. Его имя могло бы обеспечить ему более безопасное место в армейских тылах, но он и раньше, в предвоенные годы, как вспоминают знавшие его люди, не искал себе привилегий и легких путей. Уважал отца, он старался обходиться без его опеки. Того же раздражало такое поведение и вызывало вспышки гнева, приводившие иногда к жестокому самоубийству. Только в конце войны отец Якова, узнав о стойкости сына в германском плену, стал впервые отзываться о нем с теплотой и озабоченностью.

Мать Якова — Екатерина Сванидзе — умерла от брюшного тифа в 1910 году, когда ее сыну было лишь два года.

Она прожила короткую и нелегкую жизнь, работала подвизницей в чужих домах, стирала там и шила, чтобы прокормить своего малолетнего сына и поддержать мужа, опившегося тогда до паралича тюрьмам и осмыслам. В детстве Яков жил с сестрой матери, а позднее его привезли к отцу в Москву. Здесь Яков окончил десятилетку, вскоре уехал в Ленинград и поступил там на электростанцию рабочим. Потом женился, не спросив совета отца, чем вызвал родительское неудовольствие. Жил он в ту пору отдельно, с отцом виделся редко. Окончил институт и пошел инженером на один из московских заводов.

В 1938 году отец сказал сыну, что стране вскоре, быть может, понадобятся хорошие воины, и Яков стал слушателем Военной академии имени Дзержинского. Там его обучили артиллерийскому делу. В июне 1941 года старший лейтенант Джугашвили вместе со всеми выпускниками академии был срочно направлен на фронт. На этом обрываются сведения о Якове Джугашвили, которые были известны в Москве его близким, и начинается его двухлетнее хождение по мукам в фашистском плену.

«Мы — враги»

Продолжая знакомиться со стенограммой допроса из «Дела № Т-176», процитируем, насколько позволяет место, хотя бы условные вопросы и данные на них ответы пленника:

«— Считаете ли вы, что ваши войска еще имеют шанс добиться поворота в этой войне?

— Считаю лично, что борьба будет продолжаться.

— А что произойдет, если мы вскоре зайдем Москву, обратим в бегство вашу власть и возьмем все под свое управление?

— Не могу себе такого представить.

— А ведь мы уже недалеко от Москвы, так почему же вы не представляете, что мы ее захватим?

— Позвольте контрвопрос: а если вы сами будете окружены? Уже бывали случаи, что ваши части, прорвав наши боепорядки, были позже окружены и уничтожены...

— Для чего в Красной Армии комиссары? Каковы у них задачи?


— Обеспечивать боевой дух и политическое руководство.

— Известны ли случаи, чтобы комиссаров удаляли из воинских частей?

— Такие случаи не известны. Комиссар — правая рука командира в политических вопросах. Хорошего комиссара солдаты уважают и любят.

— Вы считаете, что новое устройство в Советской России более соответствует интересам рабочих и крестьян, чем в былые времена?

— Конечно. А вы спросите их, каково им было при царях. Спросите-ка да послушайте, что они скажут...



— Но известно вам, что комиссары призывают гражданское население сжигать при отступлении все ценное и уничтожать все запасы, обрекая тем самым русских на лишения и беды?

— Во времена Наполеона мы действовали точно так же.

— Разве это правильно?

— По чести говоря, правильно.

— Почему?

— К чему играть в притки: мы с вами враги! В борьбе с врагом надо использовать все возможности. Человек всегда должен сражаться, пока есть хоть малейшая возможность.

— Значит, правильно, если советские власти подожгут Москву и выведут из строя все промышленные предприятия? Разве это не самоуничтожение?

— А почему вы так уверены, что непременно захватите Москву?

— Да знаете ли вы, сколько самолетов уже потеряли русские?

— Нет, не знаю.

— Свыше семи тысяч!

— А сколько самолетов потеряли вы сами?

— Меньше 200.

— Что-то не верится.

— Неужто вы не видели русских аэродромов с вашими разбитыми самолетами?

— Видел, у границы, но вовсе не здесь.

— Выходит, вы верите в остатки русской авиации?

— Честно говоря, верю, как вы выражаетесь, в эти «остатки» нашей авиации».

На этом стенограмма допроса Якова Джугашвили заканчивается. Как видно, офицерам абвера надоело без толку пререкаться со строптивым пленником. Предложили ему написать семье — отказался. Предложили передать его послание по радио домой — тоже отказался. Наменнули насчет агитационной листовки с призывом к советским солдатам сдаваться в плен — издевательски высмеял подобные затеи. Ну и распустили тогда, что он для абвера — ничемная добыча. И передали его другим нацистским службам...

Путь в концлагерь

Следующий допрос Якова Джугашвили состоялся в штабквартире группы войск фельдмаршала Бона. Допрашивал капитан Вильфред Штрик-Штрикфельт — профессиональный разведчик, говоривший по-русски без малейшего акцента. Всю жизнь Штрик-Штрикфельт занимался шпионажем против СССР. Во время войны его непосредственным начальником был Рейнгард Гелен, возглавлявший в германском генштабе разведотдел «Иностранные армии Востока», а после войны руководивший западногерманской секретной службой.

Летом 1941 года Гелен передает Штрик-Штрикфельту сверхсекретный приказ: выявить любыми способами среди плененных советских военачальников склонного к измене человека и от его имени развернуть пропаганду в концлагерях военнопленных за переход в услужение к оккупантам. Это выполняли лишь год спустя — осенью 1942 года, когда и фашистам перебежал изменник Власов, чьими действиями с первых дней его предательства и до самого конца войны руководил Штрик-Штрикфельт. Он после войны и до смерти осенью 1977 года благополучно здравствовал в ФРГ, а четыре года назад выпустил даже свои воспоминания, где рассказывает, в частности, о попытке летом 1941 года завербовать Якова Дзугашвили на вакантное в ту пору власовское амбула.

«Мы предложили ему еду и спиртное, но он отказался», — вспоминает Штрик-Штрикфельт начало допроса Якова Дзугашвили. Затем попытались воздействовать на пленника иным манером: стали убеждать его в духовно-расовом превосходстве германской культуры, на что он, однако, заметил, что Россия породила всемирно знаменитых писателей, композиторов, ученых, философов. По свидетельству Штрик-Штрикфельта, пленник сказал:

— Вы смотрите на нас, словно на примитивных островитян южных морей, но я, находясь в ваших руках, не обнаружил ни единой причины смотреть на вас снизу вверх.

Далее он назвал нападение Германии на СССР «отаровенным бандитизмом» и добавил, что захватчики получат крепкий спор. «Он не верил в конечную победу Германии», — пишет Штрик-Штрикфельт. И приводит финал допроса Якова Дзугашвили:

— Итак, вы заявляете, что не верите в победу Германии?

— Нет, не верю, — сказал он.

Больше говорить было явно не о чем. Штрик-Штрикфельт обладал достаточной смелостью и опытом по части изучения советского характера, чтобы признать в данном случае свое полное фиаско. Столь же безрезультатно он позднее допросил еще немало пленных, прежде чем заполучил наконец отщепенца Власова. Этот выросток был прямым антиподом советского офицера, о чем знают теперь повсюду не только из документов военной истории, но и благодаря таким популярным шедеврам мирового экрана, как советская киноопера «Освобождение», показанная с успехом во многих странах, в том числе в США. Эта картина, как известно, содержит яркий эпизод отъезда Якова Дзугашвили в Заксенхаузене прикнуть к предателям-власовцам. Только судя по последним сведениям, это произошло не в Заксенхаузене, а задолго до того на советско-германском фронте.

Впрочем, до исхода осени 1941 года нацисты еще старались извлечь политический капитал из захваченного ими необычного военнопленного. Его привезли в Берлин и передали в распоряжение департамента Геббельса. Надзор за пленным осуществляло гестапо. Упомянутый выше западногерманский журнал «Штери» теперь сообщает:

«Джугашвили перевезли из главной резиденции гестапо на Принц Альберт-штрассе в роскошный отель «Адлон», ибо Геббельс понадеялся, что ему удастся трансформировать этого русского в антисоветского пропагандиста. Но Яков, убежденный коммунист, стоял на своем. И тогда его из геббельсовского гостя в дорогом отеле снова превратили в обычного военнопленного. Его отправили в офицерский концлагерь Любек, а затем в концлагерь Хаммельбург. Хотя он был ценным заложником, но весьма неудобным; он повсюду, где только мог, убеждал своих товарищей по плену, что Германия неизбежно проиграет войну и большевизм победит».

За колючей проволокой

Концлагерь Любек под Гамбургом был создан специально для особо «неповоротливых» военнопленных-офицеров. Здесь содержали пленных из разных стран, и потому концлагерь именовался «международным штрафным». В его узниках охрана стреляла без всякого повода. Массовые убийства устраивались обычно по вечерам, когда охранники неожиданно давали свистком сигнал всем заключенным войти в бараки и тут же падали по тем, кто не успевал сделать этого мгновенно. Старший лейтенант Джугашвили, попав позже в концлагерь Заксенхаузен, сказал там своему соседу по барaku, что в Любене его «часто сажали в карцер». Говорил он также, что среди его товарищей по заключению в Любеке было много польских офицеров.

Будучи однажды по журналистским делам в Варшаве, я расспрашивал работников польского Комитета ветеранов войны и узников концлагерей: есть ли свидетели пребывания Якова Джугашвили в нацистском концлагере Любек? Сразу выяснить не удалось, но позже получил из Варшавы пакет с двумя номерами польского еженедельника «Политика», опубликовавшего письма нескольких читателей, появивших в годы войны за колючую проволоку в Любеке.

«Помню, — пишет Винсенты Ковалец, — как во время одной переключки в концлагерь доставляли военнопленного в советском мундире. На следующий день немцы назвали его на переключке пленным полковником Макаровым. Однако уже через пару дней мы знали, что это был на самом деле Яков Джугашвили, сын Сталина. Интерес к нему, понятно, был очень большой. Однако он находился под постоянным наблюдением двух стражников, и контакт с ним казался невозможным. Джугашвили был лишен права получать какие-либо посылки, письма, газеты и так далее. Все же спустя два дня мы узнали, что контакт с ним установлен. Стали собирать для него продукты, папиросы и передавать их разными способами. Атмосфера вокруг него среди военнопленных была доброжелательной. Когда через некоторое время немцы начали выводить Джугашвили из барака на прогулку в специально отведенный участок лагерной территории, то мы устроили ему очень теплый прием. В

лагере среди военнопленных возник тайный кружок друзей Советского Союза. Этот кружок подпольно устраивал лекции об СССР. Уже после войны я узнал, что это был один из первых кружков такого рода в концлагерях. А ведь командант Любека полковник Фрайхор фон Вайхмайстер расстреливал пленных просто для развлечения! Это было его хобби. Стреляли «ради спорта». Так убили немало узников... Я думаю, хотя прошло много лет, всю эту историю следует вывесить до конца».

Высший узник Любека поляк Ян Гаврон таким же образом описывает пребывание Якова Джугашвили в Любеке и добавляет, что увезли его оттуда неожиданно в неизвестном направлении. Теперь известно, куда откомандировали — в офицерский концлагерь Хаммельбург.

Хаммельбург имел свое специфическое назначение: там пленных офицеров из Советского Союза, Франции, Югославии и других стран разделяли на готовых под страхом смерти сотрудничать с нацистами и тех, кто не соглашался стать предателем, а потому подлежал уничтожению. Стойких антифашистов вывозили для казни в другие концлагеря, в том числе в Зансенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, но чаще всего в Дахау, где связанных и раздетых догола узников Хаммельбурга расстреливали палачи из особого отряда СС. Таким образом в 1941 году было убито 652 советских офицера, содержащихся в Хаммельбурге. Среди тех, кто не пошел на сделку с врагом и все же чудом уцелел, оказались двое советских людей — капитан Александр Константинович Ушицкий и политрук Петр Павлович Кашпаров. Оба сейчас живут в Москве. Вот что рассказывает Ушицкий:

«Я уже находился в концлагере Хаммельбург, когда туда весной 1942 года доставили Якова Джугашвили. Я знал его в лицо, потому что до войны, обучаясь в Москве в военно-инженерной академии, ходил иногда на занятия физкультурой в спортивный зал академии имени Дзержинского и не раз встречал там Джугашвили. С той поры он сильно изменился: лицо исхудало, почернело, взгляд глубоко запавших глаз стал тяжел и мрачен. Он был одет в истрепанную шинель и рваную гимнастерку. На голове — советская армейская пилотка. На ногах — башмаки с деревянными подошвами.

Я видел, как к нему подошел один из лагерных охранников, держа в руках банку с краской и кисть, и начертил у него на груди буквы SU (Soviet Union). Такие метки всем нам ставили на груди и на спине. А Якову Иосифовичу — и на груди, и на спине, и на брюках, на рукавах, на плечах и даже на пилотке! Пока охранник махал кистью, Джугашвили обернулся к толпившимся рядом пленным офицерам и громко крикнул:

— Пусть жалует! Советский Союз — такая надпись делает мне честь. Я горжусь этим!

Эти слова произвели большое впечатление. Мужественное поведение Якова Иосифовича мы, конечно, горячо одобрили. А сохранить твердость духа было тогда не просто. Каждый день из наших барачков выносили товарищей, умерших от истощения и болезней. И каждое утро эсэсовцы, вы-

строив нас на плацу, выводили из рядов свои очередные жертвы. Их под дулами автоматов уводили из лагеря. Мы знали, что этих офицеров никогда больше не увидим.

К Якову Иосифовичу приставили одного пленного, который стал изменником. Этот субъект следил за Джугашвили и приставал к нему с антисоветскими разговорами. Однажды Яков Иосифович вспылал — схватил табуретку и пригрозил провокатору:

— Если ты, сволочь, еще раз оскорбишь Родину, размою голову!

В те дни мы под руководством попавшего в Хаммельбург генерал-майора Тхора готовили массовый побег; наметили места для разрыва колючей проволоки, составили карту окрестностей и стали мастерить самодельные компасы. В это время я довольно близко сошелся с Яковом Иосифовичем. За ним неотступно следили, шансов на побег у него практически не было, но он знал о наших планах и обратился ко мне с просьбой:

— В случае удачи расскажи потом обо всем дома. Передай, что я ни за что не сдамся. Немцы меня и в Берлине уговаривали, и тут пытаются, но я не уступлю. Независку их всем сердцем! Они обо мне клеветнические листовки разбрасывают, но я верю, что наши во всем разберутся. Фашисты мне смертью грозят. Сообща, если погибну, всю правду обо мне...

Я посоветовался с друзьями и с их согласия привлек Якова Иосифовича к тайной выделке компасных стрелок из бритвенных лезвий, сделанных из магнитной стали. Но вскоре нас постигла неудача: фашисты каким-то образом пронюхали о подготовке побега и схватили многих близких к генералу Тхору офицеров. Самого генерала увезли из Хаммельбурга и уничтожили. Увезли в неизвестном направлении и Якова Джугашвили. О его участи до конца войны я ничего не знал...».

Совет генерала Карбышева

Товарищ Ужлинского по заключению в Хаммельбурге — Петр Павлович Кашкаров встретил войну на посту начальника штаба одной из наших частей, оборонявшей Брестскую крепость. Вместе с ее защитниками он принял неравный бой, потом оказался в заточении в Хаммельбурге, а позднее — в Нюрнберге. Стал другом и одним из помощников генерала Карбышева. Теперь работает в Москве на крупной автобазе. Там и с ним увиделел и записал еще один рассказ бывшего узника Хаммельбурга:

«Когда в апреле 1942 года в Хаммельбург пришел эшелон с заключенными из концлагеря Замостье, я заметил среди них Дмитрия Михайловича Карбышева, с которым прежде был знаком. Я подошел к нему, поздоровался, и он мне сказал, что по пути в Хаммельбург из их эшелона совершил по-

бет генерал Огурцов. Это было радостное известие: мы в Хаммельбурге мечтали о том же. Во главе нашего подполья стояли генералы Тхор, Нивитин и Алавердов. Карбышев сразу же к ним присоединился. Вам, наверное, теперь известны его слова: «Плен — страшная трагедия войны, но пока идет война, мы должны бороться с врагом здесь, за колючей проволокой!»

Несколько дней спустя после прибытия Карбышева я его спросил:

— Товарищи интересуются, можно ли доверять находящемуся тут Якову Джугашвили?

Карбышев ответил:

— К Якову Иосифовичу следует относиться как к непоколебимому советскому патриоту. Это очень честный и скромный товарищ. Он немногословен и держится особняком, потому что за ним постоянно следят. Он опасается подвести тех, кто с ним будет общаться.

И догадался, что Карбышев и другие руководители подполья тайно поддерживают контакт с Джугашвили. Затем я сам с ним познакомился и убедился, что это действительно настоящий советский офицер. К его характеристике, данной Карбышевым, хочу добавить, что Яков Джугашвили был исключительно отзывчивым человеком: он, страдая от недоедания, часто делился хлебом с больным и ослабевшим товарищем.

Он и Карбышев еще оставались в Хаммельбурге, когда меня и часть узников отправляли в Нюрнберг. Через некоторое время туда же доставили Карбышева. Когда я спросил его о Джугашвили, он сказал:

— Якова Иосифовича увезли из концлагеря неизвестно куда. Гитлеровцы на него злы невероятно...».

Один из охранников Хаммельбурга эсэсовец Иозеф Кауфманн, избежав после войны наказания в ФРГ, осмелел до такой степени, что в 1967 году на страницах западногерманской газеты «Бильд ам зонтаг» жаловался, как ему трудно было усмирять поднадзорных заключенных:

— Сын Сталина выступал в защиту своей страны великий раз, как представлялся случай. Он был твердо убежден, что русские победят в войне.

В последние дни пребывания старшего лейтенанта Джугашвили в Хаммельбурге туда прибыло из Берлина несколько изменивших своему народу грузинских буржуазных националистов, которые принялись уговаривать Якова Джугашвили встать на их сторону. В ответ он предложил отщепенцам выйти вместе с ним на лагерный плац. Наблюдавший эту сцену вместе с другими военнопленными ныне покойный полковник Фесенко рассказал на встрече бывших узников Хаммельбурга, что Джугашвили тогда во всеуслышание заявил предателям:

— Возвращайтесь туда, откуда вас прислали, и скажите там, что если даже останется в живых всего один боец Красной Армии на последнем клочке нашей земли, то и в таком случае он будет биться с вашими хозяевами до самого конца!

На это один из изменников выкрикнул, что Якову недолго осталось жить. Но и без того Яков Джугашвили в тот день на-

верняка явственно предвидел неизбежную близость своего конца.



«При попытке к бегству»

Когда старший лейтенант Джугашвили попал в Заксенхаузен, там день и ночь безостановочно работал нацистский конвейер смерти. Распространяя гарь и зловоние, дымил труба крематория. Из радиорепродукторов гремела музыка — обязательный анкомпанемент массовых расстрелов заключенных. Полным ходом работала газовая камера. Во внутренней тюрьме «Целленбау» узников пытали, переламывая им кости и добывая полуживых людей. Туда, в «Целленбау», и поместили поначалу Якова Джугашвили. В те дни его судьбой распоряжался начальник этой тюрьмы эсэсовец Курт Энкариус. Он после войны предстал перед трибуналом в Берлине и дал такие показания, от которых и сегодня леденеет кровь. Вот небольшая выдержка из протокола судебного заседания:

«Вопрос прокурора: Какие наказания существовали в вашей карцерной тюрьме?

Ответ Энкариуса: Порка на козле, подвешивание на столбе, различные виды арестов, казнь.

Прокурор: Что представляло собой подвешивание на столбе?

Энкариус: Людям связывали руки за спиной и после этого подвешивали с вывернутыми руками на столбе, который они сами заранее должны были врыть в землю.

Прокурор: Сколько времени заключенные висели в таком положении?

Энкариус: Обычно полчаса. А для того, чтобы добиться показаний, до двух часов.

Прокурор: Применялись ли еще какие-либо истязания?

Энкариус: Заключенных били и пинали ногами, обливали ледяной водой, топили зимой босыми вокруг марцера и так далее.

Прокурор: Верно ли, что условия в карцерной тюрьме были настолько бесчеловечны, что заключенные лишали себя жизни, ибо не могли вынести этих пыток?

Энкариус: Так точно. 20 или 25 человек покончили жизнь самоубийством.

Председатель суда: Вы отправляли заключенных на уничтожение в крематорий. Это правильно?

Энкариус: Так точно. Я постоянно отправлял заключенных в крематорий...».

Палач остался на свободе, хотя семь лет назад прокуратура в Мюнхене начала против Энкариуса следствие по обвинению его в причастности к убийству Якова Джугашвили. Обвинение базировалось на показаниях бывшего помощника Энкариуса — интершарфюрера СС Вальтера Услеппа, живущего тоже в ФРГ. Он заявил, спасая собственную шкуру, что его начальник вроде бы участвовал в расстреле Джугашвили, ко-

того незадолго до казни зверски избили за то, что он кричал во всеулышание: «Гитлеру скоро придет конец!».

Мюнхенский прокурор Карл Вайс в ходе следствия публично оповестил: «В официальных актах концлагеря несколько раз упоминается, что при расстрелах русских был дивизарован также Яков Джугашвили».

Однако прямых документальных улик против Экамуца так и не обнаружили, и в итоге судебное дело замгли.

Живущий ныне в Москве бывший узник Заксенхаузена № 73025 и активный участник лагерного подпольного Сопротивления Марк Григорьевич Тилевич говорил мне в Москве:

— Штаб нашего подпольного Сопротивления ничего не знал в то время о судьбе Якова Джугашвили, хотя мы через своих людей были осведомлены буквально обо всем происходившем в бараках, в тюрьме, в местах казней...

Таким образом, единственные свидетельства о последних днях старшего лейтенанта Джугашвили — это трофейные тилеровские документы.

Из находящегося в «Деле № Т-176» рапорта СС о смерти Якова Джугашвили явствует, что он был помещен в специальный барак на территории особого лагерного блока «А», полностью изолированного от остальной части Заксенхаузена. Охрану составлял особый эсэсовский караул. Блок «А» был оцеплен колючей проволокой под электрическим током напряжением 550 вольт. В одном бараке вместе с Джугашвили содержался еще один советский военнопленный по имени Кочичи, скрывавший, как считали, свою настоящую фамилию, которую никто так и не узнал, потому что этот человек почти несколько месяцев спустя где-то на юге Германии. Кроме него в особом блоке «А» помещались четверо пленных англичан, из которых двоих — Мэрфи и О'Брайена — уже нет в живых, а двое других — Кушинг и Уолш — здравствуют поныне в Англии. Показания, включенные в «Дело № Т-176», дают основание предполагать, что Кушинг и Уолш в 1943 году сыграли в Заксенхаузене весьма подлую роль...

Томас Кушинг и Эндрю Уолш попали в германский плен во время сражения под Кале в 1940 году и сразу же заявили о своей готовности сотрудничать с фашистами. Их передали германской разведке, поселили в Берлине на Гогенштрауфен-штрассе, а затем стали готовить для выполнения секретных диверсионных заданий. Кушинга тренировали с целью переброски в Латинскую Америку, где он с группой такжиз лазутчиков должен был взорвать шлюзовые сооружения на Панамском канале. Уолша планировали сбросить с парашютом в Шотландии для устройства взрывов на обороннопромышленных предприятиях. Как заявляет ныне Уолш, его бывлой соратник Кушинг имел также задание от гестапо шпионить за тремя остальными англичанами и усердно этим занимался. Все четверо, однако, так и не успели стать диверсантами, ибо неожиданно направили в Заксенхаузен и разместили в том же блоке, где был заточен Яков Джугашвили.

Это странное соседство началось с того, что англичане попытались заставить Джугашвили и его соотечественника в качестве слуг убирать их койки, а когда в ответ последовал решительный отказ, британцы принажились всечески оскорблять их. Документы СС констатируют, что англичане старались лишить советских пленников пищи и обращались к ним не иначе как «большевистская свинья» (излюбленное выражение шефа гестапо Мюллера и его подручных). Одной из О'Брайен даже ударил Кокوشина по лицу. Теперь, много лет спустя, Кушинг в оправдание всех этих подлостей дает столь же гнусное объяснение: «Мне и моим приятелям действовали на нервы бесконечные пропагандистские речи Джугашвили». На деле же Кушинг и его компания имели, очевидно, поручение спровоцировать столкновение с Яковом Джугашвили, во время которого произошел бы «несчастный случай» со смертельным исходом. Подобное натравливание узников из разных стран друг на друга неоднократно практиковалось в Заксенхаузене.

Репорт СС о смерти Якова Джугашвили сообщает, что незадолго до того этот заключенный заявил:

— Скоро германские захватчики будут переданы в наши лохмотья, и каждый из них, способный работать, поедет в Россию восстанавливать каменья за каменем все то, что они разрушили...

После этого заявления главарь СС, видимо, решили более не мешкая разделаться с их неуступчивой жертвой. 14 апреля 1943 года, как гласит репорт СС, Яков Джугашвили будто бы избутовался, отказался вечером зайти в барак, двинулся якобы прямо через «полосу смерти» перед проволочным заграждением, а на окрик охранника ответил: «Стреляйте!». Затем он вроде бы сам бросился на проволоку с элентрическим током, после чего эсэсовец-охранник Конрад Харфини в присутствии начальника караула эсэсовца Карла Юнглинга застрелил Якова Джугашвили.

22 апреля 1943 года Гиммлер направил в нацистское министерство иностранных дел на имя Риббентропа под грифом «Совершенно секретно» репорт СС и личную депешу о гибели Якова Джугашвили.

В телеграмме сказано:

«Дорогой Риббентроп!

Посылаю вам репорт об обстоятельствах, при которых военнопленный Яков Джугашвили, сын Сталина, был застрелен при попытке к бегству из особого блока «А» в Заксенхаузене близ Оранienбурга.

Хайль Гитлер!

Ваш Генрих Гиммлер.»

Замаскированное убийство

Факт гибели старшего лейтенанта Джугашвили был зафиксирован, помимо репорта СС, медицинским заключением о его смерти и серией фотоснимков тела убитого на проволоч-

ном заграждения. Ныне этот же факт подтверждают Кунин и Уолш, а также живущие преспокойно в ФРГ Юнглинг и Харфиш, который заявил при встрече с журналистами: «Это точно, что я в него выстрелил».

Но было ли это убийством «при попытке к бегству» или пленника хладнокровно расстреляли, а затем, бросив его тело на проволоку, инсценировали мнимое бегство? Ведь Яков Джугашвили, несомненно, мечтавший об освобождении, не мог вместе с тем не знать, что бегство из проволочной западни под током 550 вольт на глазах вооруженной охраны просто бессмысленно!

Трафаретная эсэсовская формулировка «убит при попытке к бегству» была обычным прикрытием расправ над противниками нацизма. В Заксенхаузене таким образом убили множество людей, о чем засвидетельствовал после войны в своих мемуарах бывший узник этого концлагеря, член ЦК Социалистической единой партии Германии, ветеран немецкого коммунистического движения Зепп Хаан. В мае 1943 года в Заксенхаузене эсэсовцы расстреляли 70 пленных американских и английских летчиков, а потом было объявлено, что эти пилоты «убиты при попытке к бегству». Один из эсэсовских палачей в Заксенхаузене, некий Вильгельм Шуберт, предстал перед судом в 1947 году, открыто заявил: «я убил собственноручно 636 русских военнопленных», и добавил:

— Однажды я подвел нескольких заключенных совсем близко к цепи охранных постов, сорвал шапку с головы одного заключенного, бросил ее за линию охранных постов и приказал ему принести шапку обратно. Таким образом я расстрелял четырех заключенных под видом пресечения попытки к бегству...

В рапорте СС о гибели Якова Джугашвили и в показаниях его убийц-эсэсовцев говорится, что он вроде бы сперва упал на проволоку с электротокном и только после этого был застрелен. Однако ни в рапорте, ни в эсэсовских показаниях, ни в медицинском заключении о смерти нет ни слова о следах ожогов на теле убитого или последствиях электрошока, хотя по проволоке шел ток высокого напряжения. Заключение о смерти, составленное батальонным медиком дивизии «Мертвая голова», сообщает:

«14 апреля 1943 года, когда я осмотрел данного пленного, я констатировал смерть от выстрела в голову. Входное пулевое отверстие расположено примерно в 4 сантиметрах ниже уха сразу же под скуловой дугой. Смерть должна была наступить немедленно после этого выстрела. Очевидная причина смерти: разрывшее нижней части мозга».

По расположению пулевой раны нетрудно догадаться, что в Якова Джугашвили выстрелили сзади или сбоку. Как утверждает ныне Юнглинг, старший лейтенант Джугашвили погиб 14 апреля около девяти часов вечера. Рапорт СС уточняет: «позднее 8 часов 30 минут вечера после наступления темноты». Между тем Харфиш уверяет, что метко выстрелил, несмотря на темноту, только один раз. Судя во всеобщее, он действительно выстрелил только один раз, но зато в упор и не

«при попытке к бегству», а по секретному приказу своего начальства.

Исполнители казни — эсэсовцы из дивизии «Мертвая голова» — получили приказ молчать об этом убийстве под любой расстрел. Как видно, руководители палачей в ту пору, после Сталинградской битвы, уже стремились на всякий случай скрыть хотя бы некоторые свои злодеяния.

Возникает вопрос: зачем Гимmlеру понадобилось не только информировать Риббентропа о гибели Якова Джугашвили «при попытке к бегству», но и сопроводить свое явное фальшивое сообщение соответствующими документами СС и фото-снимками? Ведь Гимmlер в годы войны был неизмеримо сильнее канцлерского министра иностранных дел, и отчитываться перед Риббентропом в грязных делах СС ему совсем не требовалось. И еще одна деталь: ведомство Гимmlера в конце войны позаботилось уничтожить почти всю свою компрометирующую документацию, спалив ее, утопив в озерах или спрятав в шахтах, а между тем архивы гитлеровского МИДа едва ли не целиком сохранились и стали трофеем военных противников фашистской Германии. Похоже, что Гимmlер, испытывая после Сталинградской битвы недобрые предчувствия, с дальним прицелом фальсифицировал убийство в Заксенхаузене 14 апреля 1943 года.

Сокончательно прояснить обстоятельства этого убийства смог бы, пожалуй, только один человек, но он предпочел отмолчаться. Это ушедший на пенсию бывший криминаль-директор западногерманского федерального управления сыскной полиции Курт Аменд. В годы войны он был гауптштурмфюрером СС. Это он составил рапорт СС о гибели Якова Джугашвили. Это ему поручил Гимmlер курировать все вопросы, связанные с заточением старшего лейтенанта Джугашвили. Это ему подчинились убийцы из специального блока «А». Но они безбедно живут без каких-либо угрызений совести, словно люди забыли о кровавом кошмаре Заксенхаузена, о тысячах замученных там антифашистов.

Однако память об этом столь же неистребима, как тверда воля европейских народов не допустить повторения трагедий минувшей войны. И ныне на развалинах концлагерных строений Заксенхаузена усиленно двенадцати европейских стран, чьи сыны топились здесь и гибли, построен Музей европейского Сопротивления фашизму. Он стоит на прахе и пепле тысяч убитых, среди которых был и старший лейтенант Джугашвили, чьи останки сожгли тут в концлагерном крематории 15 апреля 1943 года.

Москва — Варшава — Вашингтон.
1971 — 1977.

ЧТО МОЖНО сказать о стихах Гурама Петриашвили? Панмическое чувство — собственная теоретическая беспомощность. Стихи опровергают легко и светло, без всякого усилия и вовсе не заботясь об этом, самые, казалось бы, неизблемые убеждения. Одно из них — стихи непересказуемы. Ведь нельзя же пересказать «Я помню чудное мгновенье», а тут, кажется, все поддается пересказу, более того, они вызывают постоянную потребность пересказывать себя, подскокить, побегать кому-то рассказывать. Вот тебе на — стихи, словно городская новость, но какая же это новость — какие это стихи?!

Во-первых, мне кажется, что их можно рисовать, что



их можно снимать в кино. Если они из области сна, то это явно сны цветные. Стихи, тяготеющие быть сказкой. Или сказка, пренебрегающая возможностью быть стихом. Если сказка, то не хуже Андерсена — уверю ...

Александр
ЦЫБУЛЕВСКИЙ
(1974 г.)

Гурам ПЕТРИАШВИЛИ

* * *

Рано утром
смотрю в омытый ночным дождем сад
и глаза отвожу
от дальнего его угла.
Там грустная и задумчивая,
застыла маленькая вишня,
с которой вчера
собрали первые плоды.

* * *

Нико Пироманашвили посвящается

Наверно, однажды утром
по улице проведут
жирафа.
И вдруг распахнутся окна...

Иные выйдут,
перевесятся через балконные перила
и ленивым взглядом поведут
вслед
одиноко возвышающейся
посреди суестьяхся и кричащих голов
шеи,
вслед грустным глазам.
А потом, потягиваясь, зевнут
и снова полезут в теплые постели.
Но некоторые,
кто пошустрей и любопытней,
не умывшись,
жуж наскоро слепленный бутерброд,
на ходу застегивая штаны,
побегут вслед за страшной процессией,
чтобы вдоволь насмотреться
на диковинное зрелище.

Свалят его
на большой площади,
упрутся коленями в грудь,
сгребут ручищами грубыми
и в шуме,
гаме,
хохоте
произведут ампутацию
длинной и красивой шеи.
А голову снова пристроят к туловищу
и выпустят с гогогом
урода - скакуна...
И разойдется довольная толпа...
А шею унесет специалист,
и чучело он смастерит поспешно.
А чучело потом, уткнув под мышку,
внесут профессора в аудитории
и лекции прочтут в огромных залах
о вредности наличия длинной шеи,
о том, что сверху видно все иначе
и потому ошибки так возможны,
что можно по оплошности,
случайно,
об уличный удариться фонарь,
что эти пятна —
будто бы красивые —
есть признаки болезни —
и опасной! —
что, поразив вначале длинношеих,
от них распространяется на прочих,
и, наконец, совсем уж неприлично
так резко отличаться от иных!..

А жираф —
смешное существо,

притихшее, —
по городу ходить уныло станет,
впряженный в телегу
какого-то болвана...

Но, к счастью,
завершится хорошо
все это приключение.
Однажды,
в спокойный вечер,
в небе высоко проплывет
фиолетовое облако.
И приподнимет голову жираф,
и ею поведет он вслед за облаком,
и снова шея станет длинной, стройной...
Опять пройдет по улице жираф,
покачивая гордо длинной шеей...
И навсегда покинет город.

Случай в вечернем городе

*Михаилу Квесслава —
автору книги «Дни потопа»*

Заскрежетали тормоза,
машины замерли на месте,
прохожие застыли, вздрогнув...
И, кажется, у манекенов
в больших витринах освещенных
вдруг расширились глаза:
по улице
огромная слеза катилась...

Спящий прозрачный шар
ростом с человека
медленно катится,
катится тяжело,
и отражает
разноцветный блеск реклам.
Народ дивится...
И в наступившей тишине
какая-то красивая девушка,
часто стуча каблучками,
перерезала улицу,
и, порывавшись со слезой,
задержалась на миг,
взглянула в мерцающий шар,
поправила прическу
и ушла, покачивая бедрами.
Наверно, она никогда не видела слезу...
И словно озадаченная этой встречей,
слеза остановилась.

И тогда народ очнулся.
Сошлись прохожие,
столпились,
и окружили слезу...
Глазели, рты раскрыв,
а кое-кто притронулся рукою,
и даже чья-то собачонка
слезу лизнула языком
и, горький привкус ощутив,
затявкала сердито.
Так и стояли среди улицы —
толпа и слеза.
Но вдруг толпу рассек
какой-то человек,
Сказал: «Позвольте!
Прошу прощения за беспокойство —
слеза моя!
Я задремал,
а вот она
на улицу сейчас же ускользнула —
известно вам,
слеза все время хочет,
чтоб видели ее.
Прошу прощения,
слезу я забираю...».
Тотчас толпа задвигалась,
зашевелилась.
Вперед один мужчина протолкался,
потом еще один и тут же — третий,
Руками машут, задираясь,
друг другу говорить мешая.
«Прошу тебя, дружище,
продай ты мне свою слезу, —
один заговорила, —
ведь у меня вчера
любимый попугай скончался,
я выплакал все слезы,
а хочется поплакать мне еще.
Продай же мне слезу...»
«Нет, лучше мне продай, —
прервал его другой, —
ведь я директор драмтеатра,
и, если подходить с умом
и тратить экономно,
такой слезы актерам нашим,
пожалуй, хватит лет на пять
и запросто они сыграют
хоть сотню разных драм...»
«Нет-нет, продай ты мне слезу, —
воскликнул третий, —
я мастер кукол
и мастерю не просто кукол,
а — плачущих.
Вот было бы красиво,

когда бы куклы плакали слезами
настоящими!..».

А человек, послушав их слова,
ним ничего на это не ответил,
двумя руками он в слезу уперся
и покатила...

И постепенно удалились от людей
слеза и человек.

Вот, к переулку приближаясь,
уже едва не скрылись

в темноте,
как вдруг остановился человек,
он, улыбаясь, голову поднял,
и громко закричал:
«Вы в чем-то заблуждаетесь, друзья!
Ведь дело обстоит совсем не так,
поймите вы:
слеза большая — просто лишь
слеза большая,

и существует,
покуда есть она,
одной большой слезой,
и на легкие, мелкие слезы
не делится!..».

* * *

В вечернем городе блестит мокрый асфальт.
Куда-то торопятся, улыбаясь, девушки..
А в освещенной витрине,
среди больших барабанов,
один-одинешенек сидит
маленький игрушечный медвежонок,
его после долгих сомнений
так и не купили...

* * *

Поздним вечером
в школу пробравшись
для каких-то проделок,
вдруг
мы застыли
у раскрытой двери в учительскую.
«Что поделаешь, люблю...» —
говорил кому-то
и тихо плакал
наш учитель математики...

В зоомагазине



Вчера в зоомагазине

случилась беда:

птичка потеряла голос.

О, как она билась о прутья клетки,
как хотела умереть...

Обессилев,

присела, грустя,

и напрасно раскрывает маленький рот...

Больше никогда не запоет бедная птица.

Испуганный продавец

доложил заведующему о происшествии.

Выслушал заведующий.

Сжал недовольно губы.

Долго думал.

Связался с кем-то по телефону,

переворошил уставы,

искал птичку в справочнике

на букву «П»...

А потом отдал распоряжение.

Продавец обрадованно кивнул головой,

деловито ткнул в рот кончик карандаша,

лизнул языком...

Снял с полки клетку с птицей

и на ярлыке

вместо «пять рублей»

вывел «четыре»...

7

* * *

Хорошо бы...

— держать в руках резиновый шланг,

на голове — старая шляпа,

и поливать деревья всю свою жизнь...

И всегда ждать,

что какое-нибудь зашелестит дерево

и вдруг

затеет со мной разговор...

* * *

Неужели действительно эти астрономы верят,

что в свои телескопы они видят звезды?

Но если не лежишь летней ночью

на стогу, полном сверчков,

и не вспоминаешь

первое прикосновение женских волос

к твоему лицу, —

неужели звезда называется звездой?..

* * *

Под дерево это
приходили на свидание,
и дереву думалось,
что смех —
единственное занятие людей
на земле.

Перевод Даниила ЧКОННА

* * *

В конце улицы неожиданно
я увидел тебя...
Грустный был этот вечер —
Цветы я нес другой...

* * *

Тоскливо моросил дождь...
Съежившись,
сидела в троллейбусе женщина,
вздрагивала,
когда на нее смотрели,
и стыдливо
опускала глаза,
словно боялась:
вдруг кто-либо спросит,
как называла она
игрушки своего детства.

* * *

Не бойтесь небесного грома,
и за земные грехи
не ждите расплаты
дождем огненным.
Разве не возмездие это:
пролетят мимо ласточки
и никогда не сядут
отдохнуть
нам на плечи?

Перевод Даныры КОНДАХСАЗОВОЙ

Гурам АСАТИАНИ

Два этюда о мастерах

Алмазное слово Гоглы

ЕСТЬ В ТБИЛИСИ улицы, которые после смерти Георгия Леонидзе кажутся пустынными. Пустота преиспалась в город Поэта. Не та, которую иной раз горожане обнаруживают на площади, с которой ночью убрали знакомый монумент.

Тбилиси лишился Леонидзе, как внезапно стихнувшего ветра...

Как он весело дул и ласкался, этот юный ветер, врываясь знойными тбилисскими вечерами в душные коридоры улиц, принося с собой живительное дыхание далеких полей! Как пел и резвился, тудел на перекрестках, как ногами стучался в знакомые окна — задорный, неутомимый, полный любви и обожания ко всему, что он приподымал с земли, раскачивал, кружил и взметал ввысь!

Горько думать о том, чего мы лишились, утратив его.

Лучше, правильное, достойнее его памяти и его слова думать и говорить сегодня о другом — о том, что мы приобрели, открыв его для себя.

Георгия Леонидзе знали многие замечательные люди, и некоторые из них по-разному точно подметили в нем разные качества его личности.

Заря через сумрак рассветный
Как розовый кралась олень.
Являлся потом многоцветный,
Стихами пронизанный день.
И правды стиха не унизил,
Природа вставала над ней.
Над шквалами строф Леонидзе
Всей песенной силой своей.



Так в стихах Николая Тихонова на пестром, переливающимся летними красками фоне вырисовывается образ, навечно вписавшийся в это живое полотно, — поэтический образ Георгия Леонидзе.

«Я кланяюсь поэту Леонидзе... я кланяюсь искре детства, пробегающей сквозь его руки и рукописи... я говорю не о том лозном, рафазлизированном и переслащенном представлении детства, которого на свете нет, если не считать конфетных коробок. Но о простоте и аздорности и незащищенности ребенка, о его электропроводности. О способности выстроить мир на игрушке и погибнуть, переходя улицу».

Это слова Бориса Пастернака.

Но как совместить эти два образа — «шквалы» и «детскость», «силу» и «незащищенность»? Они в самом деле кажутся несовместимыми. Однако вспомним, что речь идет о поэте особого внутреннего склада, вобравшем в себя удивительную многоликость породивших его земных сил. Учтем также, что творчество такого поэта, смысл и способ его самоутверждения само собою и есть попытка совмещения самых очевидных несовместимостей.

У Леонидзе-человека была как бы двойственная натура. Многим казалось так, ибо многие помнят, как порою совершенно неожиданно, без всякой видимой причины, он подобно внезапно хлынувшему с гор потоку обретал какую-то всепоглощающую, неудержимую силу: что-то начинало в нем гудеть, клочкаться, что-то необузданное, непримиримое.

В такие минуты он подобно своим легендарным казарам, казалось, готов был «в свирепом ожесточении грызть землю».

Что было причиной этого? Несправедливость, мелькнувшая в интонации собеседника, фальшь, потуги упрямяющей бездарности?.. Все равно, о поводе уже никто не помнил. А поток продолжал бушевать, и многие, робей, отводили глаза, не в силах смотреть на это почти стихийное зрелище, исполненное какого-то первозданного величия.

И вдруг также внезапно, через какие-то минуты словно клочок небесной голубизны прорвался через грозные тучи, в глазах этого же человека закипала добрая детская улыбка.

Достаточно было одного слова, еле уловимого дуновения или оброненной кем-нибудь яркой фразы, и все вдруг менялось, как будто в комнату заглянуло весеннее солнце...

Глаза поэта добрели, щурились, почти закрывались, но их светло-голубой огонь продолжал сиять, и все вокруг наполнялось этим веселым, теплым сиянием.

Это был праздник чуткости, чистоты, какой-то заораживающей внутренней просветленности.

Да, трудно было нам сообразовать эти два образа. Некоторые и не старались этого делать.

Ослепительные вспышки мятежности принимались за элементарную крутость нрава, а жемца нежности — за наивную ребячливость.

Как поэт Георгий Леонидзе смог убедить нас в органичности этих свойств своей человеческой природы.

В его стихах с одинаковой естественностью слышится и царственный клекот горных орлов и жалобное щебетание маленькой птички либляна, и гулкое эхо громогласных снежных обвалов и едва уловимое дыхание весенних трав.

Входя в этот мир, в мир поэзии Георгия Леонидзе, мы проникаемся не только чувством восторга перед ярчайшими красками и контрастами его кисти, но и подхватываем нас на своей могучей волне сознанием соприкосновения с большой жизнью, с богатством чувств, с ликующей, торжествующей чувственностью.

«Чувственность» (мгрдзანობეობა) — слово, имеющее свою историю в грузинской литературе. Александр Чавчавадзе — первый выдающийся грузинский поэт прошлого столетия — именно это понятие противопоставил эмоциональной скудости поэзии современных ему эпигонов классицизма.

«Чувственность» у Георгия Леонидзе очищена от грубой шелухи плотских вонделений. Очищена, но отнюдь не выхолощена. Эмоциональное содержание его лирики не поддается тщательной полировке. Оно в сущности целиком сохраняет свою первоизданную языческую пламенность.

Чувственный мир Георгия Леонидзе — это прекрасный, облагороженный романтическими порывами мир рыцаря.

От его стихов веет богатейской удалью и каким-то особым торжественно-экстатическим отношением к жизни.

Они, как стихи даленных предков поэта, писаны как бы на всадничьих седлах в перерыве между тяжелыми походами.

Георгий Леонидзе прежде всего поэт любви — нестойкой и нежной, прозаической и очищающей, творящей добро и свет. Ни одна строка его не написана без любви.

Это состояние вечной влюбленности проходит через всю его поэзию.

«Когда ты со мною, все вокруг меня начинает сверкать», — говорит Леонидзе своей любимой. И сама его лирика, его слог, метафорическая система — все главные образы его поэзии пронизаны этим внутренним свечением. Все здесь светится, сверкает, даже ночные пейзажи заискрены какой-то невероятной фосфоресценцией.)

Это мир романтики, мир рыцарства... Я хочу еще раз повторить это несколько потертое временем, несколько потускневшее в нашем восприятии слово, ибо оно, на мой взгляд, еще не утрачено в наши дни своей истинной актуальности.

«Рыцарство» не то слово, которое люди нашего столетия могли бы без сожаления выкинуть из своего словаря. Не в узко сословном его понимании, а в широком, большом своем смысле оно означает идеал мужского поведения, и, что в дан-

ном случае также важно, в этом понятии, при всей его универсальности, в какой-то мере заключен и национальный аспект, национальное понимание должного, идеального.

Рыцари Руставели — сильные, охваченные всепобеждающими страстями личности, наделенные неограниченной и абсолютным бесстрашием. И вместе с тем, это люди, которые в минуты вдохновения разговаривают со звездами и целуют живые цветы, люди, которые умеют не только красиво двигаться и красиво налагать свои чувства, не только петь и смеяться, но и плакать. Да, они плачут — как дети, заливаются слезами, как дети, выражают свой восторг, сострадание, горечь разлуки, тоску о друге. Эта внутренняя их уязвимость, этот хрупкий материал, эти тончайшие нити, из которых сотканы их души, придают особое очарование их мужественным поступкам. Именно таким своим внутренним строем и лирический герой поэзии Георгия Леонидзе. Герой этот безусловно исключителен, но выглядит он вовсе не анахронизмом, а как живая, реальная личность, несущая в себе нечто вечное, неуязвимое.

Георгий Леонидзе внес в грузинскую советскую поэзию глубокое чувство историзма. Многие поэты нашего времени учились у него этой удивительной способности различать в настоящем черты прошлого.

Кто хоть раз видел грузинский рельеф, проезжая через Карглийскую долину, не мог не поразиться тому, как здесь каждый кусок земли хранит отпечаток истории, как почти каждый холм гармонично завершён рукой человека, словно в доказательство сокровенный замысел природы.

Георгий Леонидзе как никто другой раскрыл и передал эту особенность воспетой им действительности.

Он жил историей, леплел каждый ее обломок, наизусть знал все, что от нее дошло до нас, и все-таки как истинный поэт не остался в роли простого знатока или хранителя старины.

Призвание архивариуса было глубоко чуждо его темпераменту. Своим самым большим счастьем поэт считал то обстоятельство, что он оказался очевидцем и участником величайшего обновления земли грузинской.

С гордостью за свое время писал он: «И услышал я, как, сраженная громом, распалась церковная тишина Грузии».

Юность его совпала с юностью новой Грузии, с годами больших перемен и порывов. Сама жизнь тогда встала на дыбы, и оседлать ее могли только смелейшие, отчаяннейшие, жаждущие новых ощущений и просторов всадники.

Такая роль была ему как раз под стать.

Начиналось обновление не только социального уклада, но и духовной жизни общества.

«Грузинская поэзия моего времени была преимущественно поэзией аллегорий, морализаций, сентенций. Обесцвеченное, стертое слово, старая поэтическая техника...

Душа рвалась к новому, я переживал мучительные искания, мечтал о самостоятельности, о новых выразительных средствах, об алмазных словах».

Он стал одним из подлинных новаторов, определивших облик современной грузинской поэзии.

Путь поэта «к самому себе» был не прост. Но его путеводной звездой была глубокая тяга ко всему земному, жизненному, истинно самобытному.

«Постепенно я преодолел духовный кризис, символистские влияния, отверг камерность эстетов и вернулся к живому народному слову. В этом мне помогла прочная связь с национальной почвой».

Г. Леонидзе стал народным поэтом Грузии. Его стих вошел в обиход народной жизни, в духовный быт народа.

Никогда, ни на одну минуту не терял он эту связь с родной почвой.

Писал он в это время много, с вдохновением, порой неровно, не гнушался литературной «подцензурью», не очень заботясь о реакции искусственных ценителей, имел в виду в первую очередь интересы своего главного читателя...

Георгий Леонидзе дружил со многими выдающимися, интереснейшими людьми нашего времени. Многих тянуло к нему, и он как истинный кахетинец широко распахивал перед ними двери своего дома. И все же, думается мне, ничто не доставляло ему такой радости, как общение с людьми, непосредственно связанными с землей.

Именно им, их жизни посвятил он свою последнюю книгу — сборник рассказов «Волшебное дерево».

Постараюсь воспроизвести одну картину.

В Институте грузинской литературы, у дверей его кабинета, в узкой приемной, где в то же время размещалась канцелярия, часто можно было увидеть несколько диссонансирующих с местной обстановкой посетителей. Чаще всего это были крестьяне, неуклюжие старики — кахетинские виноградари и землепашцы, с глазами уставших буйволов, подобно языческим божествам Донгелло, беспрерывно (к великому ужасу канцелярских дам!) дымящие из своих чубуков и с бесподобной невозмутимостью наблюдающие за тем, как в этом клубящемся тумане постепенно утопают и приемная, и все ее обитатели.

Они входили к нему, не снимая своих черных крестьянских шапок, тяжело опускались на стулья, долго и обстоятельно толковали, еще дольше молчали, не спеша набивая свои чубуки, лениво огрызались на веселые шутки хозяина, который слегка подтрунивал над ними, дразнил, подзадоривал, заставлял выкладывать все, что у них накипело на душе.

С ними он был по-сыновнему обходителен и неизменно весел.

Многие, очень многие люди помнят Георгия Леонидзе. Помнят его на трибуне, читающим новые стихи, спорящим, настаивающим молодых, помнят склоненным над пожелтевшими рукописями, и на проспекте Руставели, где он прохаживался, запрокинув назад голову, своей стремительной походкой, и в тихом саду Союза писателей, в кругу патриархов грузинской литературы.

Помнят его не только люди, но и Деревья, посаженные его руками, рощица, открытые им, новые набережные Тбилиси и развалины древних монастырей.

Летом 1959 года грузинский народ справил свой национальный праздник — Бахтриноба — 300-летие со дня победы народных повстанцев над иранскими поработителями.

У стен старой крепости собрались представители трудовой Грузии. Были здесь пахаря, художники, пастухи, академики, рабочие, поэты, и среди них один уже заметно поседевший мужчина.

Он был тамадой длиннейшего, накрытого на траве грузинского «стола», и его сильный голос тулко отдавался в стенах крепости.

Когда были осушены первые рюги — за народ, за славы предков, а также «гоглаура» (тост, который придумал сам Гогла Леонидзе. — за младенца, родившегося именно в эту минуту!), выпыхнула песнь. Сначала — «Мрапалжанмер» и «Чаируло», затем послышались и новые.

В одной из них пелось о не вернувшемся с войны парне:

Не горюй, мама, не поддавайся печаль...

День, продлись, продлись!

Сын прощается с родной матерью...

Пели ее по-разному. Пшавы и тушинцы — словно причитают, хакетинцы — более сдержанно, со скрытой печалью.

Каждый певец прибавлял и свои слова, но каждый из них знал, что автор песни именно этот седовласый человек — их тамада, Георгий Леонидзе, который в этот вечер, словно для того, чтобы никто не заметил его седины, смог ослепить каждого своим нескромным красноречием — роскошью одному ему подававшей до конца — до самых глубинных залежей — грузинской речи и всех до единого зажег чистым пламенем высокого, беззаветного, самозабвенного вдохновения.

Георгий Леонидзе был удивительно яркий человек. Удивляла в нем прежде всего абсолютная самобытность таланта. Часто можно услышать, что в этом смысле он даже выделится среди всех грузинских поэтов нашего столетия.

Человеку, не в совершенстве владеющему грузинским языком, трудно понять, в чем заключается секрет этой самобытности. Потому что решающую роль здесь играет не только своеобразие поэтических тем и образов, но и звучание леонидзевского стиха, интонационная его окрашенность, особенности поэтической звукописи.

Особая близость к истокам народного творчества предопределила одно существенное качество его лирики.

Грузинским народным песням, прежде всего хакетинской песенной традиции, присуще редкое, уникальное в своем роде сочетание языческой пылкости с изысканным благородством выражаемых чувств. Внутренняя пламенность здесь подчеркнута сдержанно, как бы закована в строго гармоничные формы. От такого внешнего сопротивления давлению чувственности не слабеет, а наоборот, растет, все время стремясь к высвобождению, к вольному разлитию, к полному своему воплощению. Этот эффект усиливается и своеобразной полифоничностью исполнения: самозабвенный порыв, неистовство

первого голоса все время становится и уравнивается
убежденно-мощным звучанием басов. Все это создает ошущение внутренней героичности, патетики, торжественности, в которой ведущую роль играет доминанта мужского, воинского, рыцарского начала.

Именно таким звучанием обладает поэтический голос Георгия Леонидзе, именно такова музыкальная структура его стиха.

Ни одному грузинскому поэту, после Важа Пшавела, не удавалось столь ярко и органично выразить эту особенность национальной песенной стихии, как удалось это автору «Ниноцминды» и «Кипчагского свидания».

В строке Леонидзе заключен какой-то внутренний гул, в котором грузинскому слуху чудится и эхо весенних раскатов, и волнующий отзвук топота возбужденных коней, и глухой скрежет сабель, гнущихся о вражьи доспехи.

Георгий Леонидзе был на редкость жизнестойкий, цельный человек.

Были у него, правда, и некоторые второстепенные качества и второстепенные стихи (которые он снисходительно называл «стружкой»), были и явно несообразные с его обликом отклонения (и в поэзии, и в жизни), и минуты удивительного самоотчуждения.

Но главным в нем был именно этот уцелевший чудом, а может быть, как раз не чудом, а в силу какой-то существенной закономерности дух рыцарства, который проявлялся не в куртуазных манерах, не в позе, не в показной галантности, а совершенно естественно, просто, непрерываемо точно и очевидно — в его всегдашней внутренней подтянутости, возвышенности, неподдельной изысканности, в неподражаемой щедрости во всем.

Да, он был щедрый рыцарь!

Недаром Симон Чиковани, поэт, который знал цену эпитетам, назвал его «рыцарем грузинского слова».

Таким он запомнился близким, таким он предстал перед читателем еще в своих ранних лирических шедеврах, таким пребудет в памяти народной.

Щедрая лоза Симона

ЕСТЬ КНИГИ, которые представляют собой своего рода итог в биографии поэта.

Последний приближенный сборник Симона Чиковани привлекает внимание не только новыми стихотворениями, в нем примечательны и новизна отбора старых вещей, и вообще оригинальное расположение материала.

Когдаходишь в этот многообразный поэтический мир, постепенно убеждаешься, что перед тобой не только отдельные отдельные ступени духовной жизни поэта, но и своеобразная система, содержащая внутреннюю закономерность.

Книга открывается написанным в 1925 году стихотворением «Разговор с Николозом Бараташвили». Это юношески чистосердечная исповедь поэта, который в самом начале избранного им пути уточняет свою литературную родословную.

Можно сказать, что это стихотворение сегодня, 50 лет спустя после его создания, звучит особенно органично.

Поэзия Симона Чиковани выросла в лоне грузинского модернизма. Уже в годы увлечения футуризмом главный пафос его творчества заключался в стремлении к преодолению декадентской поэтики. Эта тенденция, которая вначале носила по существу формальный характер, постепенно приобрела принципиально важное направление.

Все лучшее, созданное Симоном Чиковани в пору творческой зрелости, принадлежит к ряду тех сравнительно немногочисленных произведений грузинской советской поэзии, в которых нашли свое высокохудожественное воплощение не только богатый эмоциональный мир современного человека, но и его многосторонние интеллектуальные интересы. В этих произведениях на языке поэзии были выражены и интимные движения человеческой души — порывы сердца, кипение страстей и острые коллизии его духовной жизни; раздумья, сомнения, поиски внутренней гармонии, стремление разгадать тайные движущие силы жизни и творчества.

В стихотворениях, написанных на протяжении двух последних десятилетий жизни поэта, действие интеллента, размышление, поэтическая медитация полностью восстановлены в своих правах, по-своему эстетизированы и составляют неотъемлемую часть их содержания.

Это существенно новое качество отнюдь не исключает эмоционального богатства поэзии зрелого Чиковани.

«Творчество любит зрелость», — читаем в «Третьей приписке» С. Чиковани. Именно это внутреннее качество особенно явственно выявлено, в частности, в его лирике последних лет.

Симон Чиковани проделал весьма своеобразный путь творческой эволюции. По словам поэта, в ранних своих опытах он сознательно прибегал к такому использованию словесного материала, который в истории грузинской поэзии связан с традицией Бесики.

Для определенного развития его поэтического мастерства действительно характерно особое, даже самодовлеющее внимание к внешней, особенно звуковой, структуре стихотворения.

Но можно сказать, что впоследствии Симон Чиковани как мастер пошел по совершенно иному пути.

Созданные на протяжении двух последних десятилетий его произведения в сущности лишены внешних, формальных эффектов.

Своеобразие поэтического искусства зрелого Чиковани состоит не во внешнем блеске слова. Его поэзия как бы упор-

но вовлекает нас вглубь, в свои недра. Главная, решающая роль принадлежит здесь внутренним формам стиха, словесной живописи, своеобразной системе пластических образов.

Творческая мастерская Симона Чиковани чрезвычайно богата разнообразнейшими средствами и способами выражения.

Перу поэта принадлежит не одно известное произведение, которое привлекает оригинальным мелодическим звучанием и оркестровкой стиха.

Но с точки зрения поэтического искусства в его творчестве особенно значительны именно формы художественной (в собственном смысле слова) выразительности.

Это обстоятельство неоднократно отмечалось исследователями и ценителями творчества поэта.

Следует отметить, что Симон Чиковани был одним из лучших знатоков классической и современной живописи среди грузинских литераторов нашего времени.

У него имелись свои оригинальные взгляды относительно многих старых и современных мастеров кисти, и он всегда был готов с увлечением говорить об их искусстве.

Но те, кому случилось хотя бы несколько раз беседовать с ним, легко могли заметить, что предметом особой его заинтересованности было творчество французских художников нового времени.

Правда, по своим эстетическим воззрениям Симон Чиковани стоял (по многим принципиальным вопросам) на позициях, прямо противоположных импрессионизму, но можно сказать, что своеобразная живописная манера Моне и Писсарро, как и вообще творческий опыт французских художников конца прошлого столетия, не прошли бесследно для его поэзии.

В этом отношении примечательно не только то обстоятельство, что поэт как в своих ранних стихотворениях, так и в поздних часто обращался к излюбленной импрессионистами натуре (стога сена на солнце, дождь, город во время дождя и т. д.).

Образы Симона Чиковани порой легко узнать даже вне контекста по некоторым внешним признакам. Характерно, например, что он особенно часто прибегает к метафорам и сравнениям (построенным на неоднократно повторяемом союзе «или»), которые вызывают в нас двойные, тройные и даже еще более сложные образные представления.

Такое богатство поэтических ассоциаций вызвано обостренным вниманием к живописным оттенкам «предмета».

Метафорическая система Симона Чиковани в отличие от образного строя классической лирики заметно лишена строгой простоты и гармоничности, поскольку главная цель поэта — не гармония и четкость, а обилие оттенков и их сочетаний. Многие его поэтические картины, как и знаменитые полотна импрессионистов, писаны на «пленэре» и сохраняют чудесное богатство живых красок природы.

Однако именно здесь наиболее ярко проявляется одна особенность, которая резко отличает художественную манеру поэта от импрессионистской живописи.

Симону Чиковани совершенно чужда присущая живописи подчеркнутая мягкость красок, спокойные, несильно затуманенные тональности, а также специфическая мягкость рисунка.

В противовес этому Чиковани-художник, как правило, подбирает резко контрастные сочетания, крайние оттенки, которые не сливаются, а наоборот, как бы сталкиваются, борются друг с другом и, таким образом, создают совершенно иное настроение.

Характерно в этом отношении одно из последних стихотворений поэта «Переход через Гомборы», где разгул осенней красок сравнен с испуганным табуном красно-желтых коней.

Следует также отметить, что для Симона Чиковани не меньшее значение, чем цвет, имеют рельефные, пластические свойства предмета.

Ничего общего с «чистой живописью» не имеет, в частности, неоднократно повторяющееся в его стихах сравнение солнца с оленем. Здесь, как и во многих других его поэтических образах, перед нами — ярко выраженная скульптурная манера видения и воплощения реальности.

Главная же особенность творчества Симона Чиковани состоит не в само собою точной и богатой художественной образительности, а в исключительно острой и динамичной манере поэтического отображения мира, что в большинстве случаев придает его полотнам или даже простым («живописным», «скульптурным» или «графическим») эскизам глубоко экспрессивный характер.

В поэтическом искусстве Симона Чиковани образительность никогда, в сущности, не имеет самодовлеющего характера. Внешняя действительность, «мертвая» или «живая» природа его как поэта интересует не как предмет для описания, а как материал для лепки своих поэтических образов, конечная же цель последних состоит не в достижении живописного или скульптурного эффекта, а в наиболее полной передаче переживаний и мысли.

Отмеченное нами обилие контрастных красок передает сложную гамму внутренних движений души поэта. Многообразие внешних образительных средств здесь обусловлено внутренним многообразием того, о чем поэт хочет поведать своему читателю.

Симон Чиковани — поэт аналитического мышления, один из тех мастеров современности, которые обогатили поэтику XX века обостренным вниманием к «детали», к составным частям целого, один из тех поэтов, в творчестве которых наиболее четко выразился характерный для современного поэтического искусства интерес к конкретному, частному — ко всему, что фактически оставалось вне пределов классического художественного мышления, «Обостренное приглядывание к вещи» и соответствующий «крупный план» (знаменитые определения Ю. Олеши) лежат в самой основе образного строя его поэзии.

Трудно назвать другого грузинского поэта современности, который бы так мастерски умел выявить скрытую значительность и многозначность явления, узреть в мельчайшей части-

не бытия ее внутренней полноту и масштабность. «Поэтической детали» предоставлена важнейшая роль в его стиле. Здесь можно было бы привести множество отдельных образцов, но у Симона Чиковани есть целый ряд произведений, целиком построенных на таком принципе.

Максимальная плотность образного рисунка, умение вместить в малое пространство большую, объемную поэтическую мысль предопределяют своеобразные тахи, в частности, его стихотворений, как «Старинные часы», «Раковина», «Гнездо ласточки» и другие. Как в маленькой колхидской равнине, навеки вобравшей в себя мятежное дыхание морских просторов, так и в этих малых образах, в несприятельной обыденности их микромира заключен живой отголосок большой внутренней жизни поэта.

Движение поэтической мысли у С. Чиковани, как правило, разворачивается от единичного к универсальному, от малого к монументальному, и внутренний пафос его исканий (как и у бессмертного автора «Мерани») очень часто составляет страстный порыв к преодолению «пространства» и «времени».

Эта последняя особенность, в ряде случаев приобретает характер столь явной художественной тенденции и столь очевидно тяготеет к определенному кругу образных представлений, что очень трудно удержаться от искушения рассматривать ее как некую национальную черту.

Симон Чиковани принадлежит к числу тех советских поэтов, с именем которых связано преодоление узких рамок так называемой «чистой лирики» и обогащение языка поэзии мотивами и образами широкого «эпического» содержания.

В одной из ранних своих статей поэт писал, что он попытался восстановить в гражданских правах некоторые отвергнутые символистской поэтикой слова.

Можно сказать, что он же в своей лирике возвратил законные права на поэтическое инобытие тем предметам и явлениям живой действительности, которые символисты называли «презренной прозой жизни».

В утверждении реалистических традиций в советской грузинской поэзии большое значение в свое время сыграли, в частности, стихотворения поэта из цикла «Пропусти меня, гора».

Поэтический язык Симона Чиковани порой лишен внешней утонченности формы.

«Ты тяжела, как мой стих» — восклицает он в одном из своих посвящений интимного характера. И впрямь его стих очень редко привлекает внешним изяществом или легкостью слога. Вследствие этого он оставляет почти равнодушными читателей, которые в поэзии больше всего ценят именно эти свойства.

Стих Симона Чиковани требует от читателя определенно-го художественного чутья, особой чувствительности к ходу поэтической мысли, способности к домыслу и воображению. «Тяжеловесность» стиха объясняется здесь не причинами технического характера. Главное в том, что Симон Чиковани являлся принципиальным противником облегченного понимания назначения поэзии. Для его творческой природы «легкий жанр» внутренне неприемлем.

Его строка, как ствол лозы в пору созревания, отяжелела гроздьями полнокровных, налитых драгоценным соком плодов. Это — плоды поэтически овеянных раздумий и душевного горения.

Здесь следует иметь в виду и своеобразие эстетической концепции поэта, в частности, характерное для него понимание внутренней сущности и значения творчества.

Для Симона Чиковани сам творческий акт — не безболезненное, продиктованное мгновенным порывом или неожиданным озарением действие, но внутренне сложный и противоречивый процесс, который требует мобилизации и всех душевных сил, и всего духовного, интеллектуального опыта.

Правда, не чужды для поэта и внезапные проблески «обрушившегося как водопад вдохновения».

Но не случайно Симон Чиковани редко доверяется поэтической импровизации и порой на протяжении десятилетий вновь и вновь возвращается к однажды написанному. Дополняет и обогащает его.

И еще: истинный смысл творчества в его представлении подразумевает не только непосредственное поэтическое воплощение собственных переживаний, наблюдений, порывов и дум, но и своеобразную переключку с непреходящими, вечными образами поэзии.

Исключительно богатая система образов, созданных Симоном Чиковани, разработанные им оригинальные художественные способы выражения значительны не только по их собственной поэтической ценности, еще более примечательны в них проблески тех новых, практически неиспользованных возможностей, которыми обладает грузинское поэтическое слово.

Неудивительно поэтому, что наша литературная молодежь с особым профессиональным интересом относится к творческому наследию поэта.

Утверждение нового в искусстве всегда было связано с определенными болезненными процессами. Камнем преткновения здесь служило и противодействие литературной инерции и сопротивление самого «материала», который надлежало отлить в непривычные формы.

Чем более современны эстетические идеалы поэта, тем менее наделено его творчество приметам внешнего совершенства и «безусловности» (в глазах читателей его времени). Поэтическая форма зачастую обретает это качество только задним числом.

По-настоящему современный поэт не может быть гарантирован от крайностей и промахов, поскольку он занимается не шлифовкой уже открытого и утвержденного, а постоянным поиском неизведанных граней словотворчества.

Зато лишь он вправе сказать о своем искусстве:

«Поэзия — вся! — езда в неизвестное!».

Несколько слов о Симоне Чиковани-литераторе, а также о человеке, каким я его знал.

Мало сказать, что он был блестящим литератором, редким знатком искусства, безошибочным ценителем художественного произведения.

Он принадлежал к той разновидности мастеров своего дела, которые двигают вперед литературную мысль, расширяют рамки эстетических интересов и представлений общества, открывают новую перспективу.

И я как свидетель многих литературных событий, происшедших в Грузии за последние два десятилетия, твердо верю, что именно он был тем человеком, который оказал наиболее глубокое воздействие на ход этих событий — на направление их воззрения, вкусы, принципы, веяния.

Именно ему было суждено сыграть роль обновителя литературной атмосферы, и все, что сделано значительного и по-настоящему нового, в частности, в грузинской критике второй половины нашего столетия, отмечено печатью его редчайшего дарования — почерком искателя, первопроходца, покорителя новых рубежей.

Пример Симона Чиковани (я имею в виду его статьи, напечатанные во второй половине 50-х годов) дал толчок целому движению в нашем литературоведении.

Этот пример говорил молодым литераторам, начинающим тогда свою жизнь в литературе, о том, что общие места и стереотипы уже безнадежно изжили себя и пользоваться этим языком нелепо и неприлично и что надо искать, открывать и выражать (и мучиться, и терзаться во имя того, чтобы открыть и выразить) то, что в литературе составляет ее живую душу, оспаривать и выражать внутренние ее закономерности, неповторимость художника, единственность его таланта, его призвания, способов его самоутверждения в искусстве.

Симон Чиковани — автор исторической (в полном смысле этого слова) статьи о Тициане Табидзе, с которой, по моему глубокому убеждению, начинается новая веха в истории грузинской советской критики.

Потому что в течение очень продолжительного времени ни об одном художнике слова нашей эпохи у нас не было сказано ничего столь точного и провидиоленного.

Борис Леонидович Пастернак, прочитав эту статью, писал ее автору:

«Статья — знак и зерло Вас самих».

И автор этой статьи, и автор письма к нему, были теми людьми, которые подобно великим актерам всех времен знали, что, если в зале сидит хоть один настоящий зритель, надо играть свою роль с полной самоотдачей.

В 1968 г. на русском языке вышла книга, в которой собраны лучшие статьи Симона Чиковани.

Все это сегодня — достояние русского, а стало быть, и всесоюзного читателя.

Скажу лишь два слова о том, что осталось за пределами этой книги.

Статьям Симона Чиковани при всей их пламенности, даже некоторой романтической приподнятости стиля, присуща своеобразная простота и четкость. Способность говорить простым языком не об элементарности, а о самом сложнейшем в искусстве — в этом мне видится отражение его человеческого характера.

Симон Чиковани был предельно прост в обращении, в своих отношениях с окружающими.

Раскованность его манер, некоторая небрежность к внешнему оформлению всего, что он делал, как он двигался, артикулировал, изъяснялся, свидетельствовали не об отсутствии артистизма в его природе, а о ненависти ко всему псевдоэлитарному, лживому, жеманному.

Он преклонялся перед свободой и естественностью, и вместе с тем «артистизм», «внутренняя артистичность» были чуть ли не самыми высокими эпитетами в его словаре.

Он был одинаково непримирим и к банальности, и к фальши.

Симон Чиковани умел как-то удивительно смеяться. Это был почти детский смех, и он был особенно ценен потому, что так смеялся не беззаботный, простодушный мужчина, а человек, много видевший на своем веку, переживший большие внутренние потрясения, — мудрый в полном смысле этого слова человек.

Еще живут и здравствуют люди, которые хорошо помнят, как смеялись некоторые выдающиеся их современники — внезапную вспышку света на лице Галантиона Табидзе, влажные от смеха глаза Георгия Леонидзе, гулкий, сотрясающий трудную клетку смех Пастернака, открытые огоньки в зрачках Николая Заболоцкого...

Я думаю, что этот смех, способность так смеяться очень помогли многим людям нашего времени. Не только потому, что они сохранили в себе способность смеяться над смешным, нелепым, смехотворным и тем самым ограждать себя от всего этого. Но и потому, что они этим смехом выделяли из жизни и то, что является источником радости, веселья, бодрости духа.

Потому что это был еще чаще смех восторга.

Симон Чиковани, например, мог смеяться до слез, когда ему что-нибудь по-настоящему нравилось — острая мысль, неожиданное сплетение слов.

Он долго смеялся и тогда, когда кому-нибудь удавалось его переспорить.

Симон Чиковани был из тех счастливых людей, которые умеют радоваться простым радостям жизни. И он умел закрывать окружающих, обращая их внимание на эти великие моменты жизни, учил их выкачивать радость из них.

Предельная простота в обращении с людьми естественно сочеталась у него с этими качествами.

Между прочим, после того как эта простота и это радующие подобные ему личности стали достойным памятником довольно большого числа очевидцев, каким нелепым крикливо выглядит чопорность некоторых весьма и весьма элементарных по своему духовному устройству персон!

Кайсын Кулиев писал недавно: «Симон Чиковани был мудр, эмоционален».

Сказано просто, и эти два свойства не отделены друг от друга даже соединительным союзом «и».

Как будто это одно и то же.

Так оно и есть!

У настоящих поэтов мудрость и эмоциональность — не делимые качества.

Парефразировал известное высказывание Пушкина о Баратынском, Симон Чиковани писал о Николозе Бараташвили, что тот свои мысли смог превратить в чувства.

Я думаю, что это классическая формула, которой могли бы руководствоваться многие современные литераторы, ратующие за философичность или интеллектуальность поэзии.

Потому что там, где нет следов настоящей мысли, напрасно искать интеллектуальное начало.

А там, где энергия мышления не перешла в энергию чувства, нет самой поэзии.

У Симона Чиковани душа была тонкая, чувствительная. Но он не сторонился жизни. Как и многие большие советские поэты, он стоял там, где дули большие ветры истории, как говорят в подобных случаях, — в самой гуще событий.

Однако он каждый раз находил свой ключ к этим явлениям и раскрывал то, что другим не удавалось увидеть и понять.

Так он относился и к духовным ценностям современности.

Симон Чиковани видел и понимал в явлениях искусства самое сокровенное — он понимал код культуры, всем своим существом ощущал движение эстетических идей — перипетии этого движения.

Поэтому он мог различать их скрытые переплетения, взаимобусловленность, контрастность, альтернативность, и в этом он был неподражаем.

Судьба не очень баловала этого человека, и он был не из тех поэтов, которые сразу добиваются признания и потом всю жизнь плывут на теплых волнах читательской любви.

Однако мир образов и идей Чиковани таков, что он все глубже втягивает в себя человека, однажды прикоснувшегося к нему.

«Художник, словно дерево, растет всегда — до самой смерти», — пишет он в автобиографии.

Хочется развить эту мысль.

Симон Чиковани из тех поэтов редкой судьбы, значение которых растет и после смерти.

Приятно сознавать и верить, что многие, очень многие поколения людей найдут источник особой радости в этом мире — прекрасном, немеркнувшем мире Симона Чиковани.

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

Как создавалась,
отшлифовывалась
и редактировалась
самим автором
повесть
Константина
Паустовского
«Бросок на юг»

«**Б**РОСОК на юг» —
литая повесть авто-
биографической эпо-
пей Константина Паустов-
ского «Повесть о жизни».
Этот самый крупный и зна-
чительный цикл произведе-
ний писателя создавался в
период его творческого рас-
цвета — в 40 — 60-е годы.
Работая над своими повестя-
ми приблизительно 20 лет,
К. Паустовский создал неза-
урядную книгу о своей жи-
зни, о жизни разных уголков
Советской страны за доволь-
но продолжительный отрезок
времени.

Как и другие книги автобиографической «Повести о жизни», «Бросок на юг» построен по новеллистическому принципу. Его главы группируются вокруг трех городов, где жил и работал автор, ставший свидетелем многих событий. Так, на основе чисто условного географического деления в повести выделяются четыре цикла: «сухумский», «батумский», «тбилисский» и «дворонный» (цикл — глава).

Исследователи правильно отмечали, что при создании крупных произведений К. Паустовский постоянно обращался к материалам своих ранних очерков и рассказов. В повести «Бросок на юг» он тоже воспользовался материалом своих «грузинских» произведений, которые содержали массу интересных и тонких наблюдений, были полны фактов, событий, описаний различных жизненных эпизодов, зарисовок быта.

Подступом к созданию повести «Бросок на юг» послужили, в частности, некоторые «грузинские» очерки: «С берегов Куры» (1923), «В тысячелетней пыли» (1923), «Грузинский художник» (1924), «Где нашли золотое руно» (1928), повесть

«Блестящие облака» (1928) и статья «Жизнь на клеенке» (1931).¹

Очерк «Где нашли золотое руно» почти полностью был использован при создании «сухумского» цикла. Заметим, что в нем давались точные топографические и этнографические сведения об Абхазии. В этом отношении повесть и очерк во многом перекликались. Совпадали описания гор, рек и флоры края, перечислялись его богатства, давались точные сведения о населении. «...Быт страны сложен и своеобразен. Кровавая месть и гостеприимство — вот основа этого быта... Советы стариков творят суды под священным деревом; путник, перешагнувший порог своего злейшего врага, может быть спожоен как у себя дома; свадьбы празднуют неделями. Таких обычаев много. У каждой страны есть свои странности»¹.

Невольно возникает вопрос, когда и где смог русский писатель так основательно изучить весь этот пестрый быт. В очерке, который состоял всего из восьми страниц, сведения о крае даны коротко, сжато и точно. Благодаря своему необычайному художническому мастерству Паустовский сумел сказать о характерном в жизни края и народа в сравнительно небольшом произведении. А позднее, создавая «Бросок на юг» («сухумский» цикл рассказов), К. Паустовский почти дословно повторил свои старые характеристики абхазов и Абхазии, но эти сведения им дополнялись, расширялись примерами из жизни, свидетелем которых был сам автор и о которых вспоминал через много лет. Тонким образом, эти факты наливались «сокани воображения К. Паустовского». Что же касается его поездки в горы, на озеро Ахтхел-Азанда, то этот эпизод (с некоторыми добавлениями) почти дословно перекочевал из очерка в повесть.

Материалом для «тбилисского» цикла послужили очерки «С берегов Куры», «Грузинский художник» и статья «Жизнь на клеенке». Иные эпизоды, почерпнутые из этих очерков, получили в повести довольно развернутую экспозицию. Так, материалы очерка «С берегов Куры» были использованы в первой главе «тбилисского» цикла — повести «Намек на зimu», в которой давалось описание города Тбилиси. А что касается очерка «Грузинский художник» и статьи «Жизнь на клеенке», то они послужили основой для создания новой главы-рассказа о художнике Нико Пиросмани «Простая клеенка».

К. Паустовский умел мастерски находить необыкновенное в обыкновенном, уже известном. Отдельные факты о художнике Пиросмани, которые как бы перечислялись в предыдущих очерках и статьях, преподносились по-новому. Живо и увлекательно излагались различные эпизоды его жизни (любовь к актрисе, празднование дня своего рождения и т. д.).

Дорожная глава-очерк «Мгла тысячелетий» возникла на основе очерка «В тысячелетней пыли». Основная тема произведения — впечатления от поездки — дополнялась и как бы

¹ К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи и выступления по вопросам литературы и искусства, М., «Художественная литература», 1972, с. 200.

обрела крылья в повести. Старый малонинтересный, но достоверный документальный очерк К. Паустовский превратил в яркий, увлекательный рассказ о виденном во время давней поездки. Писатель создал зарисовки картин достопримечательных мест, восхищался их древностью. Сравним описания, данные в очерке и повести:

«В Левшицконе над слюдяными, посеребренными куполами армянских церквей из черного туфа — шел дождь и дул назойливый широкий ветер с Алагеза, дальше к Джульфе в красных скалах шумел мутный Аракс, и нестерпимая жара пустыни дохнула на нас, как из каменной печи. И встали за нами развалины тысячелетних мостов, древних кладбищ, монастырей, давно покинутых, где только ласточки мечутся в сумрачных и прохладных залах»¹.

В этом маленьком абзаце давалось лишь лаконичное описание. В повести же эти факты детализируются, как бы «расписываются», дополняются интересными сведениями:

«Ночью поезд тронулся дальше на юг, к Джульфе.

Днем мы прошли знаменитое раскаленное Земное ущелье, где на рельсах лезало, греясь, злого змея, и проезда иной раз из-за этого даже буксовали...».

«Видели только жаркую и быструю реку Аракс с розовой мутной водой. Вода была окрашена в цвет окрестных гор...».

«Александр Македонский построил во время похода на Индию дорогу через Армению и мосты на Араксе...».

«Там сверху — он показал прямо в небо — стоит на отвесной скале собор, но добраться до него можно только по лестнице. Она вырублена внутри скалы, в пещере, где столетиями не было слышно человеческого голоса, а сейчас ласточки сердито щелбелят вокруг нас, требуя, чтобы мы поскорее ушли».

Как видим, отдельные описания оказались перенесенными в повесть, хотя и в детализированном и преобразованном виде. Прошло приблизительно сорок лет, и новые жизненные наблюдения, воспоминания К. Паустовского дополнили прежние, топорные наброски. Они естественно вошли в ткань художественного произведения.

Таков путь К. Паустовского от очерков к повести «Бросок на юг».

Попытаемся разобраться в принципах его работы над текстом этого произведения. Первостепенное значение приобрело изучение нави архивного наследия писателя. Рукописи, относящиеся к «Броску на юг», по своему характеру чрезвычайно разнообразны: рукописи, отражающие как самые ранние стадии работы над текстом, так и очень близкие к окончательному варианту. Сохранилось несколько редакций повести, включая машинписанные.

Черновые рукописи повести «Бросок на юг» представлены четырьмя общими тетрадями. В первой — черновики от главы «Несколько авторских замечаний» до «Берегового прию-

¹ К. Паустовский. Рассказы, Очерки и публицистика. Статьи и выступления по вопросам литературы и искусства, М., «Художественная литература», 1972, с. 184.

та», во второй тетради — главы «Военнопленный Ульяновский» и другие до главы «Над слоем льда» (в печати «Намек на зиму»). Эти тетради содержат 188 листов, написанных рукой К. Паустовского. Третья тетрадь начинается с описания квартиры Зданевичей и включает главы «Человек из народа» (получившую в конце концов название «Клеянки Пиротоманы»), «Каждому свое», «Еще одна весна» и «Библейская пыль»; последнее заглавие перечеркнуто, и рукой автора вписано новое название — «Мгла тысячелетий». Четвертая тетрадь — «Все это выдумки» и другие.

На обложке первой тетради написано первоначальное заглавие повести — «Войной взволнованный Кавказ», оно поставлено в скобки, сверху надпись — «Бросок на юг», а внизу — «Дорога народов», «Трехпогибельный Кавказ». Все эти варианты заглавий наглядно свидетельствуют о раздумьях писателя над названием новой книги.

Далее К. Паустовский перечислял заглавия всех повестей автобиографического цикла «Повести о жизни»: 1. «Далекое годы». 2. «Беспокойная юность». 3. «Начало неведомого века». 4. «Время больших ожиданий». За пятой «книгой» закреплено заглавие «Взволнованный Кавказ». Видимо, писатель долго размышлял над тем, какое заглавие дать новой книге. Наконец, из многочисленных вариантов выбрал один и крупными буквами вписал — «Бросок на юг».

О тщательности поисков точного заглавия свидетельствуют многочисленные записки. Подобные поиски — явление заманчивое. Ведь удачное название действительно играет немаловажную роль в раскрытии идейно-художественного содержания этой повести. Думается, из всех вариантов наиболее удачным оказался именно «Бросок на юг», выбранный писателем как более других соответствующий содержанию повести.

Вслед за этим на первой странице первой общей тетради появились записки: «I глава — «Дыхание тропиков» и подзаголовок: 1. Прибой из мандариновых корок. 2. Красные, вперед! 3. Седло под небом. 4. Кровь портит отношения. 5. Черные клеени».

К. Паустовский уже закончил начальную главу, однако, как явствует рукопись, ее подзаголовки не удовлетворили писателя, и он их заменил. До начала новой — II главы — «Нерусская Россия» (или «Батумские князья») писатель заново перечислил подзаголовки первой главы, которые точнее перекладывали содержание канонического печатного текста повести. Правда, здесь же уточнились новые главы из II части, например: 1. «Короткое объяснение». 2. «Табачная республика». 3. «Легенда». 4. «Заколоченный дом». 5. «Мальость». 6. «Озеро Азтхел-Азаид». 7. «Средство от малярии». 8. «Батумские звуки и запахи». 9. «Это не мама». 10. «Береговой приют» («Борденгаз кровь морских»). К. Паустовский закончил первую тетрадь 10 марта 1960 года в Ялте. Об этом свидетельствует дата в конце тетради, проставленная рукой писателя.

Вторая тетрадь начинается перечислением всех глав первой тетради, к которым приписаны новые: 11. «Что такое «босточна» Ульяновский» или «Военнопленный Ульяновский». 12. «Смотритель маяка». 13. «Собеседник сердца, жизни» (но-

торая заменяется новой главой («Веселый попутчик»). 14. «Главное направление», «Малдрид», 15. «Тысячи сигнальных ракет», 16. «Хмурая зима», 17. «Борец Заремба», 18. «Тоска по самоварному дыму», 19. «Новый 1923-й год» («С Новым годом!»), «Находчивый гражданин Лобия», 20. «Последний луч», 21. «Под слоем льда», «Тончайший лед», «Намек на зиму».

Третья тетрадь начиналась с описания квартиры Зданевичей, затем следовали главы «Человек из народа» («Клеветки Паросмани»), «Каждому свое», «Еще одна весна», «Выблейская пыль» (или «Мгла тысячелетий»). В конце тетради, на обложке, имелись некоторые замечания писателя о том, что следовало заменить имена героев Заремба, Лобия и т. д.

Последняя тетрадь открывалась главой — «Все это видения». После главы указано, что автор закончил работать над повестью в июне 1960 года в Тарусе. Рукопись повести свидетельствует, что в поисках заглавий отдельных глав-рассказов К. Паустовский, как правило, предлагал несколько вариантов и лишь после тщательных раздумий оставлял наиболее удачное. Так 11-я глава имела два заглавия: «Что такое «бостотка» Ульяновский» или «Воинволенный Ульяновский». Писатель остановил свой выбор на втором. 13-я глава тоже имела два заглавия — «Собеседник сердца, жизни» и «Веселый попутчик». Первое заглавие писатель перечеркнул. 19-я и 21-я главы-рассказы имели по три заглавия. Например, «Новый 1923-й год», «С Новым годом!» и «Находчивый гражданин Лобия». Все эти заглавия оказались неудачными, и К. Паустовский заменил их новым — «Новогодняя ночь». Из трех заглавий 21-й главы — «Под слоем льда», «Тончайший лед», «Намек на зиму» — осталось последнее. Эти изменения говорят о большой внимательности писателя в процессе работы над текстом.

В черновой рукописи повести «Бросок на юг» насчитывалось 25 глав. Закончив рукопись, К. Паустовский сразу же приступил к ее печатанию. Машинописный оригинал повести с авторской правкой сохранился в архиве писателя, а также в архиве И. Панфилова. Видимо, Константин Георгиевич один из экземпляров дал ему для чтения. На титульный лист этой машинописи внесено: «Бросок на юг», пятая книга «Повести о жизни», 1959—1960, Ялта—Таруса». Машинопись с авторской правкой имеет 188 листов. На желтой обложке, в которую вложили рукопись, писатель собственноручно записал дату написания повести: «сентябрь 1959 года, Ялта... Июнь, 1960, 10 месяцев».

В дальнейшем К. Паустовский вновь возвращался к уже утвержденному им заглавию. Появилось новое: «Бросок в страну». Потом слова «в страну» он перечеркнул и приписал — «на юг». Наконец, все сомнения были отброшены, решение стало окончательным: К. Паустовский закрепил за новой книгой заголовок «Бросок на юг».

Потом писатель приступил к белой работе. Сопоставлял черновую рукопись с белой машинописной, я убедилась, что как композиционно, так и по содержанию они мало отличаются. Число глав черновой и белой рукописи одинаково — 25. Лишь некоторые главы получили новое название («Новогод-

няя ночь»); другие, например «Благодарность одному читателю», были включены заново. В основном же заглавия оказались стабильными.

На этом этапе работы над повестью К. Паустовский использовал некоторые свои замечания, о которых писал в третьей тетради. Например, имена персонажей заменены: Заремба на Донгелло, Лобия на Курица. Продолжалась и тщательная отделка повести: текст подвергался исправлениям, сокращениям. Сопоставление машинописного текста повести с «каноническим» (см. восьмитомное собрание сочинений произведения К. Паустовского) свидетельствует о нижеследующих изменениях, внесенных писателем в текст: машинописный экземпляр подвергался сокращению: К. Паустовский требовательно отбрасывал целые куски текста, абзацы, даже эпизоды. И эти сокращения не обediaли повесть, а делали ее лишь более компактной. Из главы-рассказа «Намек на зиму» полностью исключен эпизод, в котором сообщались биографические сведения о Валентине Кирилловне¹. «Родители погибли во время кровной мести, и случайно проехавший через Осетию в Тифлис старый русский генерал подобрал сироту, удочерил ее и отправил в свое имение в Польскую губернию. «Совсем как у Лермонтова в «Мцыри». — говорила Валентина Кирилловна.

Генерал этот оказался князем Кочубеем. Он дал девочке-осетинке (наравне со своими детьми) блестящее образование и выдал замуж за учителя французского языка Зданевича. Удаление этого эпизода не сказалось отрицательно на раскрытии образа Валентины Кирилловны. Наоборот, он мог восприниматься как «чистая» литературная реминисценция. Без этих подробностей образ мудрой женщины нашего выиграл.

Особо следует отметить исключение из «батуцкого» цикла целой главы «Шахсей-Вахсей». «Я видел впервые религиозную мусульманскую процессию «Шахсей-Вахсей». Описывая эту процессию со всеми ее деталями, писатель заключал: «она показалась мне средневековым бредом, дикой картиной Дантова ада», которая часто превращалась в армянскую резню. «Это был последний «Шахсей-Вахсей» в Батуми. С нового года его запретят».

Эти сокращения бросаются в глаза даже при бескомпромиссном сопоставлении машинописного текста, в котором поэзия этого уйма мест опущена из соображений стилистической правки, с печатным экземпляром.

Все приведенные здесь факты неоспоримо свидетельствуют об исключительной тщательности и взыскательности, с которыми К. Паустовский как истинный художник слова относился к процессу создания и окончательной шлифовки своей повести «Восск на юг», изложил своими истоками и истоки связанной с Грузией.

¹ В тексте: «Она рассказала свою удивительную жизнь. По национальности она была осетинка». «Осетинка» перечеркнуто рукой писателя, сверху сделана надпись — «имеретинка».

В связи с 1500-летием грузинской литературы заново переводятся многие произведения грузинской классики. В частности, к поэзии Давида Гурамишвили, знакомой русскому читателю по переводам Н. Заболоцкого, обратилась молодая поэтесса Марина Кудимова. Новые переводы редакция считает возможным вынести на суд читателей.

Давид ГУРАМИШВИЛИ

ОГЛАШЕНИЕ РОДА И ПЛЕМЕНИ СТИХОТВОРЦА,
СИЮ КНИГУ СЛОЖИВШЕГО

ИЗ «ДАВИТИАНИ»

«Давитиани» молвил я,
Давид Гурамишвили-де.
Молвил я слово Божие,
как лозу посадил я-де.
Древо жизни с источником
желобом съединил я-де.
О страстотерпце молвил я,
чтоб вы слезу точили-де.
Стало вино недешево:
Картли и Чари билися.
С дикой лозы хоть выжимки
я обобрать все силился.
Ставил мачари юношам,
чтоб обо мне молилися:
Худа с теми не сделалось,
с кем дармовым делился я,
Саженец притчей некогда
ритор Шота растил-де, да
Корни зарыл, и ветвь привил,
и ожидал с него плода.



Два урожая снял бы тот,
кто бы отряс его тогда,
Но Руставели равного
я никогда не зрил-де, да,
Как несмышленный мальчуган,
усевшийся на прут верхом,
Похож на верхоконного
неповоротливым прыжком,
Вот так и мой нелепый стих
схож с руставелевым стихом.
Завидки брали на него
меня — я признаюсь в плохом.
И, словно детвора в садах,
стал падалицу я собирать;
Среди охотников лихих
стрелой игрушечной стрелять;
Но не досталось мне плодов,
ни сил зверье одолевать,
Досталось воду замутить
глупцу, а рыбки не поймать.
И рядом с Руставели я —
как бы с жемчужиною—жмых,
Но все красавицам к лицу —
и бисер украшает их,
А для возжаждавших вином
водица обернется вмиг,
Сойдет за персик и дичок,
дозревший в зарослях глухих.
Коль одинок, хоть колченог,
сумеет все же конь лететь.
Где высоты не видно, там
высоким низкому глядеть.
Где красоты не видно, там
уродливому хорошеть,
Тот эту книгу в толк возьмет,
кому другую не суметь.
Мир меня худородием
оглушил, как дубиною:
Не дал потомства, с родом связь
оборвал пуповинную.

Свел воедино я стихи,
 молвлю же — по единому;
 Чтоб на помин души моей
 молвили речь недлинную.
 Книжку-сиротку пестал я,
 сырый сам, горе мыкая:
 Отдал ей все, что ведал сам
 с мудростью невеликою,
 Помер в нужде, осталася
 нехристью она дикою.
 Быть ей крестным согласного,
 благословляя, кликаю.
 Мудрый, крести, молю тебя,
 ты сироту голодную;
 Мудрый в грузины выведет
 от пути чужеродного,
 И от кривды очистит он
 слово, для правды годное,
 Лжи не добавит в книгу он,
 ото лжи не свободную.
 Многоглаголанье и ложь
 я собирал ради того,
 Что сам я в брennom мире сир
 и раб удела одного.
 Обресь бы брата да сестру —
 не чаю больше ничего.
 Прочтите книгу, и словцом
 почтите грешника сего.
 От всех напастей и страстей
 Бог, братья, вас да сбережет!
 И ваших сетований груз
 он вам весельем да вернет!
 И если мертвого меня
 добром хоть кто-то помянет,
 Быть может, Бог мое лицо
 от смрада ада отвернет.
 Я путного сказать не смог —
 даю себя в том уличить.
 Какого часа я все ждал,
 какого мига улучшить,

Печали острое копье
уперлось в сердце, чтоб пронзить,
О том печалюсь, что не вам,
в Эдем или в бездну мне входить!
И потому я удручен,
в слезах и голос потерял,
что смерти напряженный взор —
он никого не обласкал
Никто ни саблей, ни мощной
ее поблагки не снискал,
Смерть под себя вас подомнет,
ее ж — никто не подминал.

Отче наш, голубым шатром
ты этот мир обнес вокруг,
Столь высоко и широко,
недосягаемо для рук.
Жил в нем и я, куда ж меня
переселил пинком ты вдруг?
От горя море настроил
я слез и угнетен мой дух.
Тьфу на тебя, ничтожный мир!
Мне б ненавидеть — я любил.
Ты же горчайший горечи
зачем же мне так сладок был?
Чем взять живым на небеса,
сюда убить меня водил.
За что ты так жесток ко мне,
что гибелью лишь наградил?
Вы за меня замолвите
слово творцу и небесам:
Де, сладко в Царстве Божием
его родне и праотцам.
Благослови их, Господи!
Но да избегнет смерти сам,
Кто эту книгу книгою
сделал и так оставил нам!

Сам чурается дурного, ближнего не умалит,
Клятва сам да не изменит, как другому не велит;
Сам что вспашет, что посеет, что во срок заборонит,
Да пожнет, да обмолотит, перемелет и вкусит.

Почитать добром ученье человеку надлежит!
Десять заповедей Божьих в сердце он да схоронит!
Внемлет пусть словам чеканным, что Давид

ему гласит!

Десять заповедей Божьих в сердце он да схоронит!
Внемлет пусть словам чеканным, что Давид

ему гласит!

Внемлет пусть словам чеканным, что Давид

ему гласит!

ИЗОБРАЖЕННЫЙ ЗДЕСЬ ТАК МОЛИТСЯ

(Стих на автопортрете)

Бог, яви ниву оную,
Этим рвом орошенною!
Бог, дожить дай насмелиться
До муки с этой мельницы!

Живодавче, на язву мне
Возложи свое снадобье,
Чтоб затеплить подвигнулся
Пред тобою лампаду я.



Художественный перевод — искусство интерпретаторское. Многогранностью поставления, многозначностью выражения он схож с режиссурой. Среди переводчиков есть свои Станиславские, свои Мейерхольды. Есть любители костюмированных действий, подменяющие правду «плохожеством», есть модернисты, игнорирующие всякую внешнюю связь с эпохой в ее языковой необратимости. Оба искусства я люблю за шанс искривления, за присутствие символики птицы Феникс и отсутствие приоритета. Никто не удостоится звания лучшего постановщика Шекспира ниже лучшего его переводчика, так что о корысти речи быть не может, но поколения как режиссеров, так и переводчиков находят новые резервы духовного сближения, а не размежевания с первоисточником...

Приоритета нет, авторитетов достаточно. И главная редакторная коллегия по художественному переводу поступила отважно, доверив мне общение с Давидом Гурамитвили — христианином, солдатом, человеком. И — всего важнее — Позгом. Гениальным мыслителем стихами, великим реформатором стиха, уникальным мастером стиха. Высоко ценя опыт Н. Заболоцкого, я не шла возможным вторично пройти путь пересказа по-русски стихов из «Давитиани». Я решила найти иной путь внутри поэтики. Я стала слушать грузинскую просодию и осторожно испытывать ее русской лексикой, памятуя о том, что

сам Давид, владеет высочайшей поэтической техникой, избегая академизма, черпал «чуждой ложкой» гущу разговорного языка — с диалектизмами и вульгаризмами — и этим языком прорицал вечные истины, почему восстану народом. Кроме того, первоначально я старалась избегать анатомирования, вернее, членовредительства гармонической, целостной структуры мысленная гражданина XVIII столетия и транслятации ее в среду перемещенного, наэлектризованного, прерывистого «мыслеобращения», современного мне. Я не боялась прямолинейно переводить. Почитать добром ученье человека надлежит, ибо для Давида это не ортодоксальность, а мировоззрение, не дидактика, а проповедь: функция поэзии «осемнадцатого» века была обширнее только эстетической и философской, была еще в исконном смысле гуманистической, пряником еще питалась памятью об «универсалах» средневековья. Внутри грузинской культуры процессы происходили идентично культуре мировой, и то, что Гурамитвили — плоть от плоти энциклопедизма Руставели, хотя на более уже специфическом уровне, не фраза из учебника.

Я не имела в виду никакой архаизации, лаче стилизации, но без определенного внедрения в лексику, без насущной меры «переволочения» обойтись сознательно не хотела — ради родства и обретення поэзии. Мне показалось важным передать музыку высокого шаври, как она слышалась

мною в пределах русской ритмической организации — неоднородной, полифоничной, часто в тонической гамме, и я вводила в стихи спондеи и паррихи, синкопирующие эту музыку для русского слуха:

Отче наш, голубым шатром
ты этот мир обнес вокруг,
но:

Обрести бы брата да
сестру —
не чаю больше ничего.

Я разделила шестнадцатисложную строку «графической» цезурой, чтобы помочь читателю найти способ дыхания в грузинской просодии, и не чуждалась фонетических стиков, чтобы остался отзвук детонационной грузинской речи, где иноземец сплошь слышит аллитерации, где согласные тверды и неподкупны, но и придыхательны от нежности.

На московском ли подворье,
среди полтавских ли мальв, ле-
тописуя с кровью сердца бед-
ствия Грузии, вынудившие по-
кинуть ее пределы, но не от-
горглившие родимые корни, Да-
вид-поэт впитывал русский и
украинский мелос и органично
пересоздавал его в своем,
столь упоенно национальном

творчестве. Стилистика варшав-
ской вообще силлабика, надеюсь,
возникнет во мне при даль-
нейшей работе над будущей
книжкой: вне этого обеднел
поэтика Гурамишвили. А поэ-
зия его такова, что не нужда-
ется в адептах и скломлет к
повиновению.

Искусство, связанное с ин-
терпретацией, в основном кол-
лективно, коллективно. Пере-
водчики — что поделаты! —
редко обходятся без подстроич-
ников (в оправдание нашему
брату и себе скажу, что пере-
вести Давида самостоятельно не-
возможно и при совершен-
ном знании грузинского язы-
ка: необходим строгий кон-
тролирующий глаз его колле-
г-менников). Многим из того,
что я поняла о Гурамишви-
ль-мыслителе, я обязана В. Ниш-
кипишдзе, с чьими подстроич-
ками работаю. Своим вооду-
шевлением в свою очередь обя-
зана поощрениям со стороны
коллегии, которая и дала мне
случай познакомить читателей
«Литературной Грузии» с пер-
выми результатами общения —
трудного, искреннего — со взм-
скающим духом Давида.

Марина КУДИМОВА

Шота РЕВИШВИЛИ

«...ЦЕНЮ ГРУЗИНСКУЮ КУЛЬТУРУ, ОСОБЕННО ЛИТЕРАТУРУ»

РЯДОМ с ведущими зарубежными карвелологами на творческое поприще все более уверенно выходит новое поколение исследователей в этой области. Среди его представителей видное место занимает гражданин Германской Демократической Республики, сотрудник Иенского университета имени Фридриха Шиллера, доктор филологических наук, профессор Хейнц Фенрих, овладевший грузинским языком и познакомившийся с грузинской культурой под руководством профессора Гертруды Печ.

Поступив в 1965 году после окончания Иенского университета в аспирантуру, Хейнц Фенрих, проучившись один год на родине, последующие два года продолжил учебу в Тбилисском государственном университете под руководством академика Анаклия Шанидзе. А уже через год после возвращения на родину молодой карвелолог защитил в Иенском университете кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы машинного перевода с грузинского на немецкий». С сентября 1969 года он — научный сотрудник отдела теории языка

секции языковедения того же университета.

В конце 1971 года на заседании Ученого совета филологического факультета Тбилисского государственного университета с успехом прошла защита на грузинском языке диссертации Хейнца Фенриха на соискание ученой степени доктора филологических наук. Официальные оппоненты — академик Академии наук Грузинской ССР Акакий Шанидзе, тогдашний член-корреспондент той же Академии Шота Дзвизгури и профессор Того Гудава, а также академик Арнольд Чикобава и другие грузинские ученые дали высокую оценку диссертационной работе немецкого картвелолога по теме «Критерий обоснования генетического родства языков и некоторые вопросы основных морфем в ранней общекартвельской основе-языке».

Да и вообще академик А. Шанидзе считает, что среди зарубежных картвелологов после ректора университета в Осло Ганса Фогта Хейнца Фенрих один из самых знающих и энергичных деятелей. Это обусловлено, по мнению А. Шанидзе, талантом, широкой подготовкой, трудолюбием и тягой к исследованию научных вопросов, которыми щедро наделен молодой ученый, являющийся сейчас заместителем начальника секции языковедения Иенского университета.

Хейнец Фенрих гордится тем, что многому научился под руководством видного грузинского ученого Акакия Шанидзе, в частности разобравшись в сущности древне-

го и нового грузинского языка, преодолел его основные трудности.

Занимался молодой исследователь и у других профессоров: у Кетевая Ломтатидзе — по абхазскому языку, у Евгения Джейранашвили — по удийскому, у Зураба Чумбуридзе — по сванскому и у Русудан Гагва — по цова-тушинскому.

Проявляя глубокий интерес к картвельским языкам и грузинской литературе, Хейнец Фенрих опубликовал в последние годы несколько трудов, посвященных проблемам грузинского языка и литературы. Так, в Германской Демократической Республике, в научных сборниках Советского Союза (в РСФСР и Грузии), а также Франции увидели свет его исследования «Слова в грузинском языке, заимствованные из арабского» (1964), «Функции гласных, производящих роды образа действия и страдательное наклонение в грузинском глаголе» (1965), «Иберо-кавказский и дравидский языки» (1965), «Грузинский эргатив (повествовательный) в предложении с переходным глаголом» (1967), «Использование грузинской лексики для предварительной подготовки автоматической переработки информации» (1967) и ряд других.

Наш немецкий друг — не только кабинетный ученый, работающий над сложнейшими проблемами, но и деятель, активно откликающийся на важнейшие события в культурной жизни нашей республики. В связи с полувековым юбилеем Тбилисского университета он

опубликовал труд «50 лет кавкасиологии Тбилисского государственного университета», цель которого познакомить читателей со значением кавкасиологии и ролью в ее развитии этого крупного центра образования Грузии.

В статье изложены научные биографии грузинских кавкасиологов, дан обзор их наиболее значительных трудов. Превосходным итогом деятельности грузинских кавкасиологов, пишет автор, являются восьмитомник толкового словаря грузинского языка и работы по изданию диалектного и исторического словарей. Он знакомит читателей с теми актуальными и принципиально важными проблемами, над которыми они в настоящее время работают.

В заключение высказана уверенность в том, что научное сотрудничество между грузинскими кавкасиологами и лингвистами Германской Демократической Республики, в частности Ненского университета, будет способствовать дальнейшей разработке пока нерешенных научных проблем, постановке и решению новых вопросов.

В 1969 году во время Дней грузинской культуры в ГДР Хейниц Фейрих многое сделал для пропаганды духовных достижений нашего народа и лучших произведений грузинского искусства. В Ненском университете им была устроена выставка грузинской литературы, прочитано немало лекций и докладов, а в газете «Новес Дойчланд» опубликована статья «По следам древней и новой культуры»,

рассказывающая о древнейшем характере и больших традициях грузинской культуры, о достижениях грузинских лингвистов и вкладе немецких коллег в успехи кавкасиологии. Как пишет автор, они изучают грузинское искусство и культуру, страну Руставели и Петрици, родину великих поэтов — Вараташвили, Важа Пшавела и Галактиона Табидзе, чтобы отвести им заслуженное место в мировой культуре.

Под рубрикой «Знакомим вас с друзьями» газета Ненского университета «Социалистиче университет» предложила своим читателям статьи Хейница Фейриха, посвященные видным грузинским ученым Илье Векуа, Амазнию Шанидзе, Шота Дзидзигури и другим, в которых с истинной любовью говорится об их гражданских и научных успехах.

В 1976 году Фейрих основал группу «Социалистическая Грузия», члены которой в различных слоях общественности читают лекции и доклады о Грузии, ее культуре, языке и истории. Задача группы — пропагандируя грузинскую культуру, осуществить дальнейшее углубление традиционной дружбы наших народов.

Вместе с грузинскими учеными доцентами Н. Бабунашвили и Н. Надарейшвили Х. Фейрих уже составил и подготовил к изданию грузинско - русско - немецкий разговорник. Им составляется также словарь грузинских памятников культуры. Вместе с профессором Ш. Дзидзигури немецкий

картвелолог работает над установлением родственных отношений грузинского языка.

По инициативе Хейнца Фенриха, который намерен и в дальнейшем продолжить это важное начинание, три сборника научных трудов Неисского университета (под заголовком «Грузия») полностью были посвящены проблемам картвелологии. Первый из них (1973) содержит труды по общественным наукам. Второй (1975) посвящен вопросам кавказологии и языкознания. В центре внимания третьего (1977) — грузинская литература, которой посвящен ряд трудов Хейнца Фенриха, представляющих для нас особый интерес.

Первый из них «К 800-летию со дня рождения грузинского поэта Шота Руставели» (1967) опубликован в сборнике научных трудов Неисского университета. В нем речь идет о титанической борьбе грузинского народа за свое существование, о том, как в силу географического расположения Грузия стала местом встречи и слияния культур народов Европы и Азии. Автор предлагает подробный обзор политико-экономического и культурного быта Грузии — времен Руставели и современной. Такой исторический экскурс логически вполне оправдан, поскольку для понимания величия идей «Витязя в тигровой шкуре» необходимо учесть обстановку, их породившую. Подробно отражена внешняя и внутренняя политика Грузии XII века. Дается характеристика идейной стороны поэмы Шота Руставели и

идей Ренессанса, разбираются произведения Иоанн Петрици и Арсена Иквалтэли, указывается, что Руставели не был единственной звездой, озарявшей небосвод родной страны. Для всеобщего развития науки и культуры в Грузии существовала плодородная почва, и поэма Руставели — тоже ее законное детище.

Х. Фенрих рассказывает о переводах на немецкий язык «Витязя в тигровой шкуре», выполненных А. Лейстом и Г. Гуппертом, отмечая при этом, что поэма относится к числу лучших эпических творений мировой литературы. Разобраны в статье язык поэмы, количество строк, их характер, ритм и рифма, метр и цезура, низкий и высокий шанри.

Каждая строфа, по мнению автора, исполнена мастерски и с точкой зрения искусства представляет явление неповторимое. Богатый словарный запас Руставели в исключительно тонких и бесконечно многообразных нюансах.

Как подчеркивает Х. Фенрих, значение этого эпоса в формировании национального самосознания грузинского народа просто неопределимо. Без преувеличения можно сказать, — пишет он, — что поэма Руставели стала его национальным сокровищем, памятником, выражающим общественное достоинство.

Х. Фенрих отмечает, что, хотя поэма Шота Руставели пронизана идеями Ренессанса, она была создана за двести лет до него, что в

ней воспеты любовь и дружба между людьми, нашла отражение тогдашняя идеологическая обстановка в Грузии, борьба между философскими школами.

Статьи «Грузинская литература» (1970) и о грузинских писателях для карманного словаря Майера (1971) писались почти одновременно, в силу чего в них много сходных положений. Эти труды как бы дополняют друг друга, давая представление о взглядах Хейнца Фенриха, касающихся грузинских мастеров художественного слова.

Разговор о грузинской литературе Х. Фенрих начинает с того, что известен раньше как Колхида и называвшаяся Иберией страна является родиной сказаний о Прометее и аргонавтах, родиной древнейшей и самобытной культуры. Грузинская литература, по оценке Фенриха, достойна быть в ряду мировых литератур.

Если в статье «Грузинская литература» даны более или менее полные сведения о грузинских писателях и их произведениях, начиная с XII века по сей день, то статья «Грузинская литература и мы» (1977) знакомит нас со взглядами автора, связанными с грузинской литературой вообще. По его словам, она относится к ряду тех литератур, с которыми немцы мало знакомы, в силу слишком большого расстояния между Германией и Грузией и разницы между имеющим собственную специфическую письменность грузинским языком и индоевропейским немецким, ограничивающей распростране-

ние грузинского языка. Между тем, считает Х. Фенрих, грузинская литература, насчитывающая пятнадцать столетий, относится к категории величайших, богатейших и развитых литератур мира, корни которой уходят глубоко в природу родного народа. Он называет ее самой известной по зрелости и древности среди литератур древних народов Кавказа, достойной упоминания наряду с французской, греческой и немецкой литературами. Грузинская литература, — пишет Фенрих, — древнейшая не только на Кавказе, но и вообще по всем Советском Союзу; да и в Европе не много народов, имеющих такую древнейшую и богатейшую литературу, представляющую значительное явление по своей подлинно народной сущности.

Х. Фенрих отмечает самобытность грузинской литературы, которая, хотя и испытывала на отдельных фазах своего развития сильное влияние извне, неизменно обновлялась и возрождалась на родной почве, одолевая с опорой на народное творчество и собственные традиции временное воздействие иностранной литературы. Испытывая в силу своего географического положения между Европой и Азией творческие импульсы с обеих сторон, она, говорится в статье, обретала еще большее очарование и привлекательность.

Однако грузинская литература, как заключает исследователь, не являлась простой подражательницей всего приходящего извне. Неизменно сохраняя свое

самобытность, пройдя сложнейший путь развития, она в свою очередь влияла и влияет на литературы других народов, в том числе проживающих на территории Советского Союза. Многие произведения современных грузинских писателей — в ряду образцов мировой литературы.

Как видим, Хейнц Фенрих верно охарактеризовал грузинскую литературу, путь ее исторического развития и роль в жизни породившего ее грузинского народа. Указав на роль нашей литературы как посредника между Европой и Востоком в деле критического усвоения их культур и творческого обмена, он выявил ее самобытный характер и благотворное влияние на литературу соседних народов.

Наряду с литературными проблемами Хейнца Фенриха интересуют и вопросы непосредственно художественного языка. В этом отношении следует отметить его статьи «Мысли о художественном языке Миханла Джавахишвили» и «Критика немецкого перевода романа Нодара Думбадзе «Я вижу солнце». В первой — рассмотрены взгляды автора «Арсена из Марабды» на литературный язык, разобраны особенности художественного языка его сочинений. Во второй — как это видно уже из названия, предметом анализа стали достоинства и недостатки немецкого перевода романа Н. Думбадзе.

Хейнц Фенрих занят также большой переводческой деятельностью. На высокохудожественном уровне им выполнены переводы «Муд-

рости вымысла» Сулхана Саба Орбелиани (вышедшего в Берлине в 1973 году, а в последующем — во Франкфурте-на-Майне), «Маленьких теней» Георгия Кечакмадзе, выпущенных Берлинским издательством в 1974 году, и «Лашарель» Григола Абашидзе, изданной в Берлине в 1975 году.

Кстати, в принадлежащем Х. Фенриху же послесловии к немецкому переводу «Лашарель», содержащем довольно подробные сведения о ее авторе, нарисована ясная картина исторической обстановки, начиная с царствования Давида Строителя до правления Русудан. Особое внимание уделяется немецким ученым анализу сохранившихся в истории противоречивых сведений, касающихся личности Лаша. Критически используя исторические источники о нем, писатель, как указано в послесловии, нарисовал Лаша человеком весьма образованным, мыслящим, бесстрашным и храбрым.

Ему же принадлежат опубликованные переводы стихов Г. Абашидзе, И. Абашидзе, Р. Маргвани и Г. Табидзе. Х. Фенрих перевел и подготовил к изданию также «Долгую ночь» Г. Абашидзе и обработанное Миханлом Чиковани «Сказание об Амირани».

Находясь в нашей республике, немецкий ученый вместе со своими грузинскими друзьями обошел пешком многие уголки Грузии. Он побывал в Имеретии, Карталинии, Кахети и Хевсуретии. В результате этих путешествий,

пишет в личном письме Хейнц Фейрих. «Я получил очень глубокое впечатление о величии грузинского народа, его гостеприимстве и трудолюбии. Очень ценю грузинскую культуру, особенно литературу (Ш. Руставели, Н. Бараташвили, Важа Пшавела, Г. Табидзе). Ценю также достижения грузинских ученых. Живя в Тбилиси, я приобрел много друзей. Грузины — очень талантливый и радушный народ».

Эти слова позволяют надеяться, что все сделанное

молодым исследователем в области освоения грузинской культуры и литературы — только начало его большой и многосторонней деятельности. Но начало обнадеживающее. Поэтому, желая нашему другу Хейнцу Фейриху успехов и достижений как на общественном, так и на научном поприще, мы вправе ждать от него новых значительных исследований в сфере картвелологии, которой он, как можно было убедиться даже по этому краткому обзору, всецело посвятил себя.

К 90-летию со дня рождения выдающегося грузинского режиссера Александра (Сандро) Ахметели издательство «Хеловнеба» выпустило в свет книгу В. Кикнадзе «Сандро Ахметели». С рецензией Дмитрия Алексидзе на эту книгу мы и знакомим наших читателей.

РОМАНТИКА ТЕАТРА

ЖИЗНЬ и творчество выдающегося грузинского режиссера Сандро Ахметели и сегодня вызывают глубокий интерес. Вокруг его имени всегда кипели страсти, высказывались самые противоречивые мнения. И это не удивительно. Новаторская природа Сандро Ахметели не могла мириться с покоем. Его бунтарский дух с революционной страстностью боролся со всем старым, изжившим себя. Можно смело сказать, что ни один грузинский режиссер не воспевал революцию столь пламенно, столь возвышенно и с такой щедростью, как Сандро Ахметели.

К сожалению, грузинское театроведение до сегодняшнего дня не располагало фундаментальным исследованием о творчестве этого интереснейшего мастера грузинской сцены. Вот почему мы особенно приветствуем выход в свет книги Василия Кикнадзе «Сандро Ахметели» (издательство «Хеловнеба», редактор Т. Джа-

нелидзе, художник О. Горалевни).

Первая статья В. Кикнадзе о грузинском режиссере была опубликована в 1958 году в сборнике, составленном Н. Шванцградзе. И вот в результате двадцатилетнего последовательного изучения творческого наследия С. Ахметели родилась монография о выдающемся режиссере, творческий путь которого свидетельствует о больших достижениях грузинского театра. Масштабно, в тесной связи с процессами развития всего советского театра книга дает оценку творчеству С. Ахметели, его заслуг и достижений. В ней немало документов, не известных доселе широкому читателю.

Книга явствует о большой эрудиции автора, о глубоком знании им материала, интересна постановкой многих проблем и их разрешением.

Очень привлекает ее polemическая смелость, бескомпромиссность, хочется полностью разделить слова ав-

тора предисловия Отара Эгдзе: «В. Кикинадзе, задавшись целью научного изучения творчества С. Ахметели, тем самым немало способствовал театроведческому исследованию режиссерского наследия и Котэ Марджанишвили, диалектически-освободившему проблему грузинской советской драматургии».

И в самом деле: в книге В. Кикинадзе дана объективная оценка заслуг такого выдающегося грузинского режиссера, как Котэ Марджанишвили, раскрыты взаимоотношения двух талантливейших режиссеров, общие корни их творчества, а также их различия. Обо всем этом повествуется со знанием истории театра, с большим научным тактом.

Автор книги «Сандро Ахметели» развеял множество мифов о взаимоотношениях двух известнейших грузинских режиссеров, подчеркнул, что Ахметели был не только «режиссером интуиции», как считали многие. Это был прежде всего высокозрудированный режиссер, отлично анализировавший явления, хорошо разбиравшийся в проблемах театра.

Взаимоотношения Котэ Марджанишвили и Сандро Ахметели в театральной прессе почему-то всегда обсуждались с излишней горячностью. В новой же книге В. Кикинадзе мы читаем: «Творческие поиски Котэ Марджанишвили и Сандро Ахметели, их совместные эксперименты, общие успехи и борьба, дни, пережитые вместе. Романтика становления нового театра. Дружба двух режиссеров, их конфликты.

Общность и различие. Взаимоотношения учителя и ученика, отцов и детей. Со-
существование и, напротив, борьба... Как все это вмещается в схему «положительного» и «отрицательного», как не выжется с навязчивыми формулами. Острейшей борьбой эпохи, ее грандиозными масштабами измеряются общие черты и отличие великих мастеров. Оба они были достойными сынами своей эпохи...» (с. 93 — 95). Спектаклями С. Ахметели были не только «Разбойники» или «Разлом», но и «Бердо Змания» и «Шпигельмен». Автором книги о С. Ахметели эти спектакли осмыслены в общем единстве, в закономерности творческой эволюции режиссера. «Ахметели искал тему мятельного героя, — пишет автор, — искал всюду, в пьесах разных форм и характеров. По существу «Бердо Змания», «Латавра», «Шпигельмен», «Саломея» — это начало пути, который привел его впоследствии к революционным героям, к людям, строящим новый мир». Невозможно в отрыве от эволюции творчества Ахметели, не учитывая этот путь в целом, разбирать любой из упомянутых выше спектаклей. «Даже отличающийся самым «пассивным протестом» экспрессионистский «Шпигельмен» был естественным явлением в сложнейшей эпохе ломки старого и построения нового мира» (с. 72). Именно в этом следует искать на пути развития грузинского театра подтверждение того мнения, что такие спектакли «способствовали развитию актерской техники, выявили

многообразие пластики, ритма, сценического движения, музыки и вообще многообразие режиссерских метафор, условных театральных форм» (с. 72).

С. Ахметели принадлежит ведущее место в истории советской режиссуры. Его сильное, самобытное творчество выросло из недр национального, питалось им, именно из недр народных «чирпал режиссер экспериментальные театральные формы. Его спектакли не оставляли равнодушными грузина и русского, украинца и азербайджанца, норвежца и француза, американца и итальянца. Его театр приобрел мировую известность, потому и писал А. Луначарский: «Театр Руставели удивил Москву. Театр Руставели можно поставить в первый ряд театров мира» (с. 392). Вот еще несколько высказываний: «Театр Ахметели стал театральным вождем» (Ваблюм), «У грузинского театра есть овой гений» (Х. Планган), «Грузинские актеры и их гениальный режиссер Сандро Ахметели одержали еще одну победу» (А. Христенсен). Театр Ахметели приглашали на гастроли не только в Москву и Ленинград, но и в Париж и Рим, Вену и Афины, в Америку. И это неудивительно, ибо Ахметели верил, «что качественное развитие национального искусства ведет нас к интернациональному».

Сандро Ахметели глубоко чувствовал щедрый театральный дар своего народа, его артистизм. А. Луначарский верно заметил, что С. Ахметели не обладал живой актерскую природу гру-

зина в театральную одежду Европы, наоборот, так сказать, к прекрасному и сильному телу, отмеченному национальным талантом, он подогнал новую театральную форму.

Страстно, какой-то первоизданной любовью любил С. Ахметели театр. Он жаждал сделать театральным весь мир. «Высказать театром свою боль и радость, прямо и просто. Иногда его как рок захлестывала театральная страсть, и он утолял жажду жизни в новом спектакле. Потом он на время успокаивался, бывал доволен достигнутым. Но только на мгновение. Каждый вечер он бывал на своем спектакле, жадно следил за его развитием, и в этом процессе им постепенно снова овладевало желание создать что-то отличное от данного спектакля, что-то новое. Не удовлетворившись достигнутым, он снова готовился к новому прыжку» (с. 393).

В объемистой монографии В. Киннадзе особый интерес вызывают главы «Начало большого пути», «Взаимоотношения К. Марджанишвили и С. Ахметели», «Свет и тени Дурудни», «У истоков романтического театра», «Мифы и действительность». Отдельная глава посвящена роли русской драматургии в творчестве Сандро Ахметели.

В центре внимания автора не только творческая биография С. Ахметели. Им не забыты ключевые вопросы, связанные с развитием грузинского театра, также, к примеру, как взаимоотношение национального и интернационального, вопросы фор-

мы и содержания, ритма, пластики, музыки, художественности, взаимодействие нового и старого, традиционного и новаторства, романтического и психологического.

Для меня, человека, лично знавшего С. Ахметели, принявшего от него сценическое крещение (он был руководителем дипломного спектакля), особенно ценна книга, в которой оживает пылкий образ С. Ахметели, раскрыта его неутомимая, вечно жаждущая поисков душа. И как не радоваться тому, что сегодня грузинское театроведение располагает фундаментальными трудами о двух ведущих грузинских режиссерах — Коте Марджанишвили и Сандро Ахметели (Э. Гутушвили «Коте Марджанишвили» и В. Кикнадзе «Сандро Ахметели»), вписавших яркие страницы в историю грузинской советской режиссуры.

«Идея Октября» в театре, по мнению С. Ахметели, ярче всего раскрывается во взаимоотношениях героя и народа. В героических делах рождался новый человек, и С. Ахметели искал образ человека-борца, искал «всюду — в революционных битвах и на гигантских стройках пятилетки, на заводах, фабриках, на холмистых полях, искал в жизни и литературе и находил их в конце концов, но не довольствовался достигнутым и вновь призывал на помощь новых героев» (с. 254). Это был сложный процесс творческих поисков, он, как справедливо отмечает В. Кикнадзе, «содержал в

себе великую идею революционных преобразований нового зрера» (с. 235). Утверждение новаторства С. Ахметели не голословно, оно документировано, раскрыто научно, на уровне современного мышления. Доскональному, интересному анализу подвергнут один из значительнейших спектаклей С. Ахметели «Разбойники». И хотя в книге В. Кикнадзе логически, убедительно освещен широкий круг проблем и тем, красной нитью через всю биографию проходит мысль о том, что Сандро Ахметели был виднейшим современным режиссером...

Национальный характер, тончайшее понимание советского театра, революционная пламенность, выражение идей братства и дружбы народов, защита высших нравственных принципов, подтверждение великой воспитательной роли театра, гармоническое слияние формы и содержания, героя и народа, борьба за современность театра, верность великим правданиским принципам советского искусства — все эти стороны жизни и деятельности выдающегося грузинского режиссера Сандро Ахметели делают для всех нас особенно любимым и близким его образ. И мы уверены, что книга В. Кикнадзе с одинаковым интересом будет прочитана как специалистами, так и широким кругом читателей, любящих театр.

Дмитрий АЛЕКСИДЗЕ,
народный артист СССР,
профессор.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

НЕДАВНО известный грузинский кинорежиссер Реваз Чхендзе возвратился из Испании, где был подписан контракт, по которому он как режиссер-постановщик приступает к работе над первым испано-советским многосерийным цветным телевизионным фильмом «Дон Кихот».

«ДОН КИХОТА»

Популярность гениального произведения Сервантеса безгранична. Известно, что к началу нашего столетия в Испании роман Сервантеса издавался четыреста раз, в Англии — двести, во Франции — сто семьдесят...

Русский читатель познакомился с ним в 1769 году, а сто лет спустя книга Сервантеса была переведена на грузинский язык. Неудивительно, что этот шедевр художественной литературы привлёк внимание представителей и другого рода искусств, в том числе кинематографии. Начиная с 1902 года во Франции, Америке, Дании, Аргентине, Испании и СССР было создано десять фильмов о Дон Кихоте с участием лучших актеров своего времени (К. Шестрем, Ф. Шалапин, Л. Сандризи, Н. Чермасов и другие).

На сей раз начинается работа над одиннадцатой экранизацией этого произведения. Фильм будет сниматься по литературному сценарию Виктора Шкловского и Реваза Чхендзе.

Когда Виктора Шкловского спросили, почему все-таки снимать этот фильм поручено грузинской киностудии, и в частности Р. Чхендзе, он сказал:

— Современное советское грузинское кино, его характер, сезонные тенденции дают безошибочную гарантию того, что ему удастся экранизация этого чрезвычайно философского, но по форме комедийного романа. Здесь я хочу напомнить, что некоторые тосты грузинского застолья не только романтичны, но и полны юмора, вот в удивительной способности сочетать эти контрастные тона мы и ищем основу будущего успеха. Подтверждением правильности нашего решения служит и то, что всем известный герой фильма Р. Чхеидзе «Отец солдата» Махарашвили в своем роде — Дон Кихот: своим горячим, пылающим справедливостью сердцем, извиним, по-детски непосредственным отношением к жизни...

— Сейчас я работаю над фильмом о современности, — сказал в беседе с нами Реваз Чхеидзе. — К «Дон Кихоту» мы непосредственно приступаем лишь к концу года, но я уже сейчас думаю, вернее, не могу не думать о будущем фильме, в особенности о его форме. Бытует мнение, будто бы Сервантес написал пародию на распространенные в то время приключенческие романы. Я же думаю, что Сервантес попытался избежать столкновения с инквизицией, вот почему им вполне сознательно придана произведению, так сказать, развлекательная форма.

В центре Мадрида стоит огромный памятник Сервантесу (установлен он в 1835 г.) — на переднем плане фигура восседающего на Росинанте Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы. На пьедестале латинская надпись:

«Мигелю де Сервантесу, королю поэтов Испании».

Отсюда начинается мир Сервантеса, который, по мере того как вы приближаетесь к нему, все больше и больше притягивает и покоряет вас.

Надо сказать, герои Сервантеса необычайно популярны в Испании. Здесь вы можете совершить экскурсию по маршруту, которым некогда прошел Рыцарь печального образа в сопровождении своего верного оруженосца. И настолько здесь все убеждает, что невольно забываешь о том, что Дон Кихот всего лишь литературный герой, а не реальная личность.

Посетил я и городок Алкану, где родился Сервантес, видел крепость Кузна де Медрано, в подземелье которой был брошен Сервантес, перенесший немало невзгод, проданный в рабство, потерявший на войне руку. Видел я трактир, в котором Дон Кихота посвятили в рыцари. Как страшные чудовища стоят ветряные мельницы, на которые грозой налетал Рыцарь печального образа...

Смотрел я на все это и вместе с настоящим человеческим счастьем испытывал чувство ответственности. Как тут не призадуматься?.. Кинематограф не насчитывает еще и столетия, а вот уже 75 лет как появляются один за другим фильмы о Дон Кихоте. Один фильм снят совсем недавно здесь же, в Испании, так что широкий зритель его пока и не видел.

— Видели ли вы этот фильм и каково ваше впечатление?

— Новый испанский фильм, как и фильм, снятый в 1956 г., оставил во мне чувство неудовлетворенности. Вообще испанцы считают лучшим фильм Григория Козинцева, у которого был большой успех даже во времена франкизма, т. е. когда, как известно, в Испании не показывали советских фильмов.

— И вы тоже думаете, что работа Григория Козинцева — самая удачная из существующих экранизаций?

— Безусловно, но, на мой взгляд, у фильма Козинцева один недостаток — отсутствие юмора, вне которого нельзя представить себе настоящую экранную жизнь «Дон Кихота».

— Коли речь зашла об Испании, мне хочется спросить вас, не возникла ли перспектива для создания совместного фильма об исторической общности басков и грузин?

— На этот счет реальная перспектива возникла в Мадриде. Этой гипотезой заинтересовался оператор Антонио Альварес, владелец фирмы, выпускающей документальные и рекламные фильмы. Нужно сказать, что мы с Антонио старые друзья, вместе учились в Москве в институте кинематографии. Он был в числе тех испанских ребят, которых привезли в Советский Союз в 1937 году. Он предложил создать совместный полнометражный документальный фильм о басках... Большая дружба связывает меня с художником Роберто Маркано, который работает вместе с Антонио. Кстати, после окончания института Р. Маркано два года работал художником на студии «Грузия-фильм» в цехе мультипликации. Так что обоим есть что вспомнить, и они считают Советский Союз своей второй родиной.

Читателям, несомненно, будет небезынтересно узнать некоторые фактические данные о составе съемочного коллектива, о работе над фильмом, об актерском ансамбле и т. д.

Самый верный источник сведений, на котором мы можем строить свои планы, — договор, заключенный в Мадриде 6 декабря 1977 г. С советской стороны договор подписал руководитель советской делегации, член коллегии Государственного комитета по делам радио и телевидения, директор телевизионного объединения «Экран» Б. М. Хесни, с испанской — директор международных взаимоотношений испанского радио и телевидения — Ило Ибанес. В договоре одиннадцать параграфов.

Из него следует: уже принят литературный сценарий будущего фильма. Фильм будет цветным, из семи серий, к съемочным подготовительным работам приступят в конце 1978 года, режиссер-постановщик фильма Р. Чхендзе, художник, композитор и консультант будут назначены испанским телевидением, сниматься фильм будет в обеих странах.

— Что вы скажете о других членах творческого коллектива и, в частности, об актерах?

— Пока что я могу назвать только одну кандидатуру — фильм будет снимать талантливый оператор Ломер Ахведiani. Особенную сложность представляет выбор актеров на главные роли. Нас ждет сложный творческий поиск, посмотрим, на ком остановится окончательно выбор. А я в свою очередь не пожалею сил и энергии, чтоб передать в будущем фильме дух произведения Сервантеса, основную его мысль о том, что достоинство человека определяется не высоким его происхождением, а благородством его дел и стремлений...

Мы верим в благородные стремления автора замечательного грузинского фильма «Отец солдата», потому и настроены оптимистически, когда речь заходит о каждой новой его работе.

Беседу записал Георгий ДОЛДЗЕ

«ПОЭТ О ПОЭТЕ»

24 марта в Литературном музее состоялся первый вечер цикла «Поэт о поэте» — «Владимир Леонович о Галактионе Табидзе». Владимир Леонович давно и успешно переводит на русский язык произведения Галактиона Табидзе, открыв для себя в поэтическом мире замечательного грузинского поэта нечто очень близкое, созвучное собственному восприятию действительности.

Владимир Леонович, не останавливаясь подробно на биографии Галактиона Табидзе, рассказал о начале его творческого пути, о тех событиях, которые наиболее точно выявляют Табидзе-человека и которые особенно сильно повлияли на Табидзе-художника. Этот рассказ сопровождался чтением стихов грузинского поэта в переводе Леоновича, послуживших прекрасной иллюстрацией к следующему сообщению. Кроме того, Владимир Леонович читал собственные стихи, посвященные Грузии, Галактиону.

На этом вечере выступили также Елена Николаевская и Белла Ахмадулина. Елена Николаевская поделилась воспоминаниями о встрече с Галактионом Табидзе, прочла несколько своих переводов стихотворений Галактиона, а также перевод стихотворения М. Калиндзе «Ответ», посвященного Г. Табидзе.

Выступление Беллы Ахмадулиной вылилось в увлекательный рассказ о случайных встречах в Грузии — с пекарем, ночным сторожем, людьми, не имевшими, казалось бы, ни малейшего отношения к поэзии, но знавшими наизусть стихи Галактиона. «Именно тогда, — сказала Белла Ахмадулина, — я по-настоящему поняла, что такое народный поэт». Она прочла два перевода из Галактиона и свое стихотворение о Грузии.

В течение четырех часов зал Литературного музея Москвы жил и дышал поэзией Галактиона, и будто присутствовал в нем живой и светлый образ большого грузинского поэта.

г. Москва.

А. ЗЛАТКИН

Мери ХРИСТЕСАШВИЛИ

ПОРТРЕТ художника и гражданина

ВЫШЛА в свет вторым изданием книга В. А. Шошина «Поэт романтического подвига», посвященная творчеству выдающегося поэта современности Н. С. Тихонова. Она отличается, прежде всего, исключительно широким и всеохватывающим взглядом на творческий мир писателя, диктуемым в какой-то мере масштабностью, неуывающим творческим потенциалом и активностью поэта. Целевая установка исследователя — дать многогранный объемный портрет художника, удивительно гармонично соединяющего в себе поэта и общественного деятеля, прозаика и публициста, критика, неутомимого путешественника, знаменосца дружины народов, человека исключительной воли, целеустремленности и обаяния, неизменно непосред-

ственного участника всех перипетий века.

Жизненная и творческая судьба Н. С. Тихонова интересна не только своей неповторимостью, но и своей типичностью, похожестью на судьбы многих советских писателей, начинающих свой путь незадолго до свершения Великой Октябрьской социалистической революции или же рожденных в бурное время революции и гражданской войны.

Прекрасно зная эту особенность поэтической биографии писателя и исходя из нее, В. А. Шошин построил свою работу, акцентируя внимание на пересечениях, соприкосновениях, сопоставлениях тихоновской судьбы с судьбами современных ему писателей, с наиболее важными и характерными явлениями советской литературы на всем

протекании ее существовании, выявляя, таким образом, не только специфику развития и становления тихоновского дарования, но и закономерности, характер, содержание литературного процесса, начиная с 20-х годов по сей день.

Отмечая, например, что участие в революционных боях и гражданской войне сыграло исключительно благоприятную роль в жизненной и писательской судьбе Тихонова, четко определяя его идейно - политическую позицию, обострив его интерес к конкретно - жизненному материалу, пронизав революционным пафосом его произведение тех лет, В. А. Шонин вспоминает в этом контексте и других советских писателей первого поколения: А. Фадеева, Д. Фурманова, Д. Петровского, Н. Островского, П. Павленко и других, для которых школа революции и гражданской войны танки стала надежным фундаментом в их будущей писательской и общественной деятельности.

Отмечая характерные особенности тихоновского стиха — высокую гражданственность, патриотизм, жизнеутверждающий пафос, оптимизм, точность поэтического видения мира, тягу к конкретным образам, насыщенным реальным содержанием даже в самых, казалось бы, абстрактных и условных поэтических построениях, — Шонин называет те черты, которые стали утверждаться с первых же дней существования советской литературы как ее неотъемлемые качества.

В картине напряженных поисков Тихонова в области формы, направленных в целом к постижению реальных, естественных принципов письма, своеобразно преломляется полоса всеобщей увлеченности новацией в 20-х годах и магистральная устремленность советской литературы к новому методу изображения новой социалистической действительности.

Постоянно вовлекая Н. С. Тихонова в обширный круг идейно - тематических аналогий и образных параллелей, обусловленных главным образом исторически своеобразием времени, Шонин не заслоняет фигуру изучаемого автора, а наоборот, изобразив ее в контексте со временем и с литературными окружениями, делает ее еще значительней, крупней и типичней, фокусируя в ней все наиболее сложное, этапное в истории становления русской советской литературы.

Затронув тему перестройки интеллигенции и приобщения ее к жизни страны в творчестве Тихонова, Шонин совершит непременно экскурс в историко-вопросный и скажет о том, как существенно была названная тема в духовной жизни 20-х годов и как решалась она В. Вересаевым в повести «В тупике», А. Малышкиным в романе «Севастополь», К. Фединым в романах «Города и годы» и «Братья» и другими писателями 20—30-х годов.

Рассказ о поездках Тихонова в Туркмению в 1926, а затем в 1930 годах, положивших начало его творческой увлеченности темой советского Востока, предвари-

ется обстоятельным, интересным обзором молодой советской литературы, охватывавшей новые географические пространства. Анализ книги очерков Н. С. Тихонова о Туркмении «Кочевники» ведется на широком фоне всеобщего увлечения документализмом, бурного развития этнографическое очерка в советской литературе начала 30-х годов.

Образ Симона Чанчахова из рассказа Н. С. Тихонова «Симон-большевик», в котором органично сплавлены начала национальное и интернациональное, служит отправной точкой для интересных рассуждений Шошина о недооценке национально-го элемента при создании характеров в некоторых произведениях 20—30-х годов.

И это не исключения — каждая тема, каждый образ берется Шошиным в рамках временных идейно-тематических сопоставлений, что, безусловно, является большим достоинством его книги.

Многочисленные отступления, ведущие к постижению сути изучаемой проблемы, экскурсы в историю вопроса, проникновение в глубь и в ширь его, разумеется, в первую очередь, требуют богатого и разностороннего запаса знаний, и в этом отношении Шошин может соперничать чуть ли не с самим Н. С. Тихоновым, энциклопедическая образованность которого поистине удивительна.

Шошин широко использует малые, но значительные подробности биографии поэта, которые узнаются лишь в результате тесного и многолетнего общения с

исследуемым писателем, а кроме того, пользуется, говоря его же словами, «географическим методом» изучения литературы, справедливо отмечая: «Литературовед, для того чтобы анализировать с полной ответственностью творчество писателя, должен знать изображаемую им жизнь».

И тезис этот энергично превращается в жизнь, начиная с 1954 года, когда молодой исследователь, тогда еще аспирант, приступив к изучению творчества Тихонова, в первую очередь совершил поездку на Кавказ, в Грузию, где он «расшифровывал поэтические формулы», сопоставляя их с реальным видимым миром, проверял «соответствие подлинности изображенным в книгах быту, природе, национальным особенностям», встречался и беседовал с героями произведений Тихонова, объездил Грузию по тихоновскому маршруту. В результате «тихоновский текст, звуча, оживал, словно впечатанный в дуга, небо, дальние горы», и прояснялись усложненные поэтические построения, поэтическая установка автора. Так, например, знакомство с Военно-Грузинской дорогой дало Шошину, по его же признанию, «ключ к пониманию «преодоления экзотики» как направления в советской литературе 20-х годов, которому отдал дань Тихонов в поэме «Дорога».

Поездка Шошина в Грузию, а затем и по другим тихоновским местам, стремление глубоко и непосредственно проникнуться атмосферой, в которой создавалась большая доля поэтиче-

ского и прозаического наследия Тихонова, говорила об исключительной увлеченности исследователя темой, которая не могла не сказаться и сказалась благотворно на его труде, написанном с глубоким проникновением в материал, с исключительной любовью, теплотой, взволнованно, на одном дыхании, как пишутся стихи. Сравнение со стихами не случайно. В. А. Шошин — автор нескольких стихотворных сборников. Вот откуда лирический избыток, поэтический пафос, который, хоть и сдерживаемый спецификой литературоведческого исследования, все же пронизывает книгу, причем, как нам показалось, особенно щедро пробивается в главе, посвященной теме — Грузия в жизненной и творческой судьбе Н. С. Тихонова.

И это не удивительно — ведь любовь Тихонова к Грузии, долгие годы бывшей источником, питавшим его поэзию, усилена любовью В. А. Шошина, тоже не раз вдохновленного Грузией на посвящения ей.

Тема «Н. С. Тихонов и Грузия» с большей или меньшей полнотой освещена во всех монографиях, статьях, диссертациях, изучающих жизнь и творчество писателя. В ряду этих исследований книга В. А. Шошина наиболее полно и тщательно освещает многогранные связи Тихонова с Грузией, включая в обзор наряду с «грузинской» прозой и поэзией писателя его переводческую деятельность, один из наименее исследованных аспектов темы.

Несомненным достоинством книги является то, что

наряду с тщательным и ^и бесчепывающим анализом зрелого периода творчества Тихонова глубоко и пристально исследуется в ней истоки творчества писателя.

В большинстве исследований изучение творческого пути Тихонова начинается со стихотворных сборников «Орда» и «Брага», принесших в 1922 году большую популярность молодому автору. Но ведь в эти сборники, знаменовавшие поэтическое рождение Тихонова, вошло всего 30 стихотворений из написанных им к тому времени 500.

Эти первые поэтические опыты наряду с ранней прозой (повесть «Старатели», рассказ «Сила», стихотворные циклы из книги «Перекресток утопий» и др.), не опубликованные по воле строгого и взыскательного к себе автора, привлек в свое исследование В. А. Шошин, рассмотрев «Орду» и «Брагу» не как начало, но как своеобразный итог многолетней напряженной работы юного поэта, проследив сложный путь эволюции Тихонова от «Перекрестка утопий» и стихов «Из походной тетради» (опубликованных только в 1935 году, спустя почти 18 лет после их написания) к «Браге» и «Орде», от мотивов безысходности, растерянности, отрицания старого мира, доминирующих в первых стихах, к жизнеутверждающему пафосу, к «внутренней праздничности», к «героическому настроению», искреннему рассказу о мужестве и оптимизме рожденного революцией нового героя, о волнующих событиях ре-

волюции и гражданской войны.

В книге впервые рассмотрена тема «Тихонов как историк литературы». Нельзя не согласиться с утверждением В. Шошина, что историко-литературное творчество Тихонова не является в его судьбе чем-то случайным и эпизодичным, что оно представляет собой «явление! исключительное» «по постоянству, размаху, по общественной живости и темпераменту».

Прослежены автором и связи Н. С. Тихонова с писателями - современниками. Особенно тщательно исследуется тема «Н. С. Тихонов и М. Горький». Причем Шошин привлекает не только материал, непосредственно иллюстрирующий творческую близость двух выдающихся представителей русской советской литературы, он прослеживает глубинное

родство их, основанное на общности мировоззренческих и эстетических принципов — на сознании прогрессивного движения истории, на собственном им чувстве исторического оптимизма и др.

С привлечением многих интересных подробностей в главе «Подвиг» повествуется о сложной, многогранной деятельности Н. С. Тихонова, сумевшего в суровых условиях блокады возгласить литературную и общественную жизнь в осажденном Ленинграде.

Подробно освещается в книге многогранная общественная деятельность Н. С. Тихонова, раскрывается роль писателя в воспитании творческой молодежи, подробнее, чем в других исследованиях, представлено творчество 70-х годов, с вниманием изучены особенности образительного мастерства писателя.

В чем же причина упадка античной цивилизации?

ПЕРУ Е. М. Штаерман — известного советского историка в области изучения античной истории — принадлежит немало работ, в том числе несколько монографий по истории позднеримского общества. Наряду с исследованием частных проблем римской истории она занимается и общетеоретическими вопросами исторического процесса и познания. Поэтому отнюдь не случайно, что среди советских историков именно ею предпринята первая попытка в философско-историческом аспекте исследовать «скрытую», в данном случае античную (римскую), культуру. Речь идет о книге Е. М. Штаерман «Кризис античной культуры» (изд. «Наука», 1975), в целом, несомненно, заслуживающей высокой оценки.

У меня же в адрес этой, безусловно, серьезной работы имеется ряд критиче-

ских замечаний, которые я и намереваюсь высказать ниже.

В советской историографии в силу определенных теоретических причин очень затянулось осмысление не только причин, но и даже самого факта деградации и упадка античной цивилизации. Исходя из неверных рассуждений, историки утверждали (а многие из них еще продолжают утверждать) факт появления новых производительных сил, переросших рабовладельческие отношения. Ход их мысли подводит к выводу о действии при переходе от античности к средневековью могучего источника развития — противоречия, и даже конфликта, между новыми производительными силами и старыми (рабовладельческими) производственными отношениями. В свете таких рассуждений в советской науке проблема упадка ан-

тичной цивилизации, разумеется, осталась нерешенной, хотя она блестяще была решена классиками марксизма.

Правда, Е. М. Штаерман далека от мысли о появлении новых производительных сил в позднеантичном обществе, наоборот, она отмечает факт упадка даже созданных на основе рабства производительных сил, правильно указывает на причины этого явления; тем не менее в рецензируемой книге (как и в других трудах историка), мы не находим осмысления проблемы упадка античной цивилизации — в ней говорится только о конфликте между производительными силами и производственными отношениями. Автор подробно говорит о кризисе античной и зарождении новой формы собственности (эксплоатированные калтысы — прототип феодальной собственности), о кризисе рабства во широком (начиная с III в. н. э.) распространении труда колоннов — предшественников крепостных. (Вслед за Н. Д. Фюстелем де Куланье Е. М. Штаерман слишком преувеличивает значение новых элементов в позднеантичном обществе. На наш взгляд, в данном вопросе более правильную позицию занимают М. Я. Сюзомов и А. Р. Корсунский). Но на фоне таких восходящих звеньев в формах собственности и эксплуатации вышеупомянутая проблема терпит крах. Читатель остается в недоумении, почему же в конце концов имел место упадок высокоразвитой античной цивилизации? Почему многие традиции в различ-

ных сферах духовного творчества, зароненные и так сильно развитые в античном мире на основе рабства, были утеряны на длительное время в средневековье, когда господствовал труд крепостных крестьян? А ведь Ф. Энгельс писал: «Средневековье развилось на совершенно примитивной основе. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию, чтобы начать во всем с самого начала. Единственным, что оно заимствовало от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утративших всю свою прежнюю цивилизацию городов» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 7, с. 360).

В самом конце четвертой главы Е. М. Штаерман пишет: «Домыслившим свой век приверженцам традиций и предков, древнего язычества как символа величия Рима, неоплатонизма, уточненной скульптуры элиты казалось, что мир рухнет. Они не могли увидеть и оценить значения нового, идущего на смену утратившему жизнеспособность старому, и их ошибка современности в значительной мере повлияла и на оценку этой эпохи последующими поколениями историков». Судя по заключительной части приведенной цитаты, мы вправе заключить, что проблема упадка античного мира — это фикция, идущая от людей эпохи его упадка и подхваченная многими историками и философами нового и новейшего времени. Но тремя страницами ниже читаем: «Опередив во многих отношениях дру-

гие общества, начинавшие путь своего развития с аналогичных исходных точек, античное общество зашло, по словам Ф. Энгельса, в «безвыходный тупик» и выйти из него могло, лишь вернувшись если не целиком и полностью, то в ряде весьма существенных моментов к исходным рубежам». В этой выдержке действительно о опыте с новой силой ставится сущность проблемы гибели античной культуры!

Итак, вопрос о том, почему погибла античная, в том числе, разумеется, и римская культура, в рассматриваемой книге отпущен не решен. К сожалению, не решена в ней и проблема самого расцвета античной культуры. Здесь мы вынуждены указать на недооченку автором фактора классического рабства в развитии античной цивилизации. (На 56 — 57-й страницах книги автор упрекает буржуазных авторов за игнорирование роли рабства в развитии античного мировоззрения). Значительный прогресс в материальном производстве, имевший место в передовых греческих полисах в VI—IV веках, в Риме же начинался с III в. до н. э. и в первые два века н. э. совершился именно на основе своеобразного демографического вара путем насильственного привлечения в производство массы жителей других стран, т. е. на основе рабства. В отличие от крепостничества классическое рабство охватило не только значительную часть сельскохозяйственного производства, но и другие, более динамичные, перспективные секторы материального производства

(ремесла, достигшие в античном мире уровня мануфактуры, торговлю, горнодобывающее дело, мореходство и др.). А это имело своим следствием развитие различных сфер надстройки античного общества. Но то же самое рабство стало причиной упадка рабовладельческого общества: постепенное исчезновение этого социального института привело к упадку как экономики, так и многих элементов надстройки. Колонат и крепостничество не могли стать таким социальным фактором развития культуры, как рабство. Внутри позднеантичного общества и в раннем средневековье не было социальных сил, способных удержать и развить в дальнейшем созданную классом рабовладельцев культуру.

Автор отмечает «напряженье, вызывавшееся не соответствующим возможностями производства развитием товарно-денежного хозяйства» (с. 177; см. также с. 138, с. 139). Это утверждение нам представляется недостаточно четким. То, что в последний период истории Рима крупное сельскохозяйственное производство не могло охватывать латифундии целиком, можно объяснить другими причинами.

Не ясно также утверждение о несобусловленности упадка культуры исчезновением творческих деятелей (это Штаерман утверждает на примере неоплатоников, см. с. 157). Если здесь подразумевать более глубокую основу, порождающую интеллектуальное бесплодие людей, занятых духовным производством, то в этом автору возразить нечего. Но

данный абзац заканчивается такими словами: «Значительно показательнее то, на что их творческая энергия направлена и на кого рассчитаны плоды их творчества».

Невозможно согласиться и с мнением Е. М. Штаерман относительно тезиса о достаточно демократическом характере Принципатата (главный опора его, согласно автору, определенные социальные слои общества, а не армия и бюрократия в основном). На 92-й странице она сама же отмечает «тягостное чувство несвободы, «отчуждения», невозможности и неспособности управлять внешними обстоятельствами, которые теперь были также вне контроля свободнорожденных граждан, как некогда вне контроля стоявших вне гражданской общины рабов. Империя оказалась силой, которая, будучи создана самими римлянами, вышла из-под их контроля» (с. 92; см. также с. 105, 120, 121, 132, 174). Если все это так (а было действительно так), то как можно согласовать данное утверждение с авторским пониманием смысла Империи. В целом третья глава, рассказывающая о кануне кризиса античной культуры, о первых его симптомах, хорошо передает духовную (психологическую) ситуацию западной Римской империи эпохи деградации.

В ней же дается изложение распространенных в Риме философских систем (стоицизма, эпикуреизма и др.). Но по сравнению с философией, историографией и поэзией меньше говорится о других сферах духовного творчества античных римлян.

В последней, четвертой главе (с. 134—173), посвященной теме самого кризиса, в социально-экономическом плане говорится о кризисе социального института рабства, о застое техники, упадке земледелия (его акцентификации, забрасывании части земель) и ремесла, городов, убыли населения. С другой стороны, на взгляд Е. М. Штаерман, культура эпохи Империи превращалась в культуру элиты, оторванную от народных масс. А это обстоятельство, по мнению автора, было несомненным показателем приближающего с я упадка римской культуры. В этой же главе немалое место уделено вырождению культуры верхов римского общества.

Несмотря на сделанные мною критические замечания, хочется надеяться, что книга Е. М. Штаерман «Кризис античной культуры» послужит сильным импульсом для изучения другими советскими историками античной и других цивилизаций в плане философско-историческом.

«Литературной Грузии»

**«ПОХВАЛА
СКРОМНОСТИ»**

«В ЭТОМ НЕБОЛЬШОМ сборнике Георгия Лебанидзе, — читаем мы в предисловии, — всего двадцать пять фельетонов и юмористических рассказов. Но, пожалуй, нет ни одной стороны нашей жизни, которой бы он не касался».

Большинство фельетонов и рассказов Г. Лебанидзе одновременно публиковалось на страницах «Правды». В книжке, изданной на русском языке «Мерани» (1977), автор представлен лишь одной стороной своей многолетней и многогранной журналистской деятельностью.

**«ПУТЬ БОЛЬШОЙ
ПЕВИЦЫ»**

ЭТА КНИГА Иосифа Бегиншвили посвящена жизненному и творческому пути Веры Александровны Давыдовой, которую Игорь Балза во вступительной статье «От редактора» назвал «поистине вдохновенным мастером сценической жизни», отметив, что большую роль в развитии творческого облика В. А. Давыдовой, после того как она сформировалась как большая русская певица и оперная артистка, сыграло изучение ею древней и богатой культуры грузинского народа.

Книжка эта, состоящая из вступления, 27 глав, выпущена на русском языке издательством «Хело в и е б а» (1977).

«НА РАССВЕТЕ»

ЭТОТ сборник стихов Геннадия Аламина вышел в издаваемой «Молодой гвардией» (Москва, 1977) серии «Молодые голоса». Представляющий читателю автора этой книжки Фазиль Искандер считает Аламина «одним из самых многообещающих молодых поэтов не только Абхазии, но и всей нашей многонациональной поэзии».

В стихах Г. Аламина, переведенных на русский язык Ф. Искандером и А. Антоновичем, духовная смелость сочетается с истинной зрелостью мысли. Органично входящие в них любовь, жизнь, смерть охвачены глубинным драматичным поэтическим взглядом.

«АКАКИЙ ШАНИДЗЕ»

НАЗВАННАЯ так книга Шота Дзидзури, выпущенная на русском языке издательством Тбилисского государственного университета (1977), представляет собой краткий обзор жизни и творчества замечательного ученого и общественного деятеля Акакия Шанидзе.



ГОСТЬ ИЗ ЮГОСЛАВИИ

✦ В Грузии гостил известный югославский поэт Марослав Максимович. В Союзе писателей Грузии состоялась встреча с гостем из СФНРЮ. В ней приняли участие секретари правления Союза писателей республики Н. Думбадзе, И. Нонешвили, Дж. Чаркваниа, председатель Бюро пропаганды художественной литературы при СП Грузии поэтесса М. Кахидзе, заместитель председателя Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным связям В. Кациашвили. Разговор шел об издании антологии югославской поэзии в Грузии и грузинской поэзии в Югославию, о развитии дальнейших творческих контактов между двумя странами.

В Югославию, сообщил М. Максимович, готовится к выходу в свет сборник грузинских народных сказок.

Гость Грузии осмотрел достопримечательности Тбилиси, побывал во Мцхета, встретился с сотрудниками Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным связям при Союзе писателей Грузии.

критики Г. Асатиани и Г. Гверцманте, Т. Цивцивадзе, поэты Т. Чавтурья, М. Хетагури и другие.

ЗВУЧАТ СТИХИ ИРАКЛИЯ АБАШИДЗЕ

✦ В Москве в концертной студии телецентра Останкино состоялась авторский вечер поэзии грузинского поэта-академика Ираклия Абашидзе. Свои переводы его стихов прочли Б. Ахмадулина, В. Солоухин, Е. Ентушenko, Ю. Рашидзе, М. Синельников, С. Куниев. С отрывками из книги И. Абашидзе «По следам Руставели» москвичей познакомил А. Мажиров. С чтением своих новых стихов выступал Ираклий Абашидзе. Он ответил на многочисленные вопросы присутствующих, в которых слышались большая любовь к интерес к Грузии, грузинской культуре и литературе, к творчеству поэтов республики.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ Л. Н. ТОЛСТОГО

✦ В Союзе писателей Грузии состоялась первое заседание юбилейной комиссии по ознаменованию 150-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Была заслушана информация председателя комиссии, председателя правления Союза писателей республики Г. Абашидзе.

На заседании выступили члены комиссии Г. Цицишвили, И. Нонешвили, Дж. Чаркваниа, Г. Жоржованиа, В. Челадзе, Э. Маградзе, Т. Чиладзе, А. Сулакван, О. Нодия, Ш. Нишванидзе, Д. Мчедlishvili.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ Д. БЕДИАНИДЗЕ

✦ В Тбилиси состоялся творческий вечер молодой поэтессы Далилы Бедианидзе, организованный по инициативе секции поэзии Союза писателей Грузии.

Секретарь правления Союза писателей республики Дж. Чаркваниа тепло поздравил Д. Бедианидзе с знаменательным событием в ее жизни.

С анализом творчества молодой поэтессы выступила секретарь правления СП Грузии И. Думбадзе.

Принято решение в сентябре с. г. провести в Тбилиси большой юбилейный литературный вечер. Будет организована также научная юбилейная сессия с участием Союза писателей Грузии, Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели, Академии наук республики и Тбилисского государственного университета.

В различных издательствах республики выйдут в свет произведения Л. Н. Толстого, исследования о творчестве великого писателя.

В юбилейные дни альманах «Свудже» выпустит номер, целиком посвященный творчеству Л. Н. Толстого.

Возбуждено ходатайство перед исполкомом Тбилисского городского Совета народных депутатов об установке новой мемориальной доски в Тбилиси на доме по проспекту Плеканова, где жил писатель.

Министерству культуры Грузинской ССР предложено включить в репертуар театров республики одну из пьес Л. Н. Толстого, а Государственному комитету Совета Министров Грузинской ССР по кинематографии — организовать демонстрацию фильмов, созданных по мотивам произведений Л. Н. Толстого.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ В ГОРИ

↑ В Горьковском государственном театре имени Г. Эристави состоялся вечер грузинской поэзии, организованный по инициативе Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Грузии. Его открыла первый секретарь Горьковского горкома партии В. Макашвили. Она представила присутствующим большую группу известных грузинских поэтов и писателей.

Н. Думбадзе, О. Чквеледзе, Р. Маргваня, Т. Чантурия, Г. Гегечкори, М. Кахидзе, Т. Бекишидзе, Л. Сулаберидзе, Р. Иванишвили, Дж. Чаркванян и другие рассказали о сегодняшнем дне грузинской

литературе, читали свои новые произведения, отвечали на многочисленные вопросы.

Большой вечер поэзии завершился праздничным концертом, в котором принял участие ансамбль песни и пляски «Гори» под руководством заслуженного артиста республики М. Мадуранишвили.

«МУЧЕНИЧЕСТВО ШУШАНИК» НА ВЕНГЕРСКОМ

↑ Академией наук Венгрии издан сборник, в котором напечатан древнейший памятник грузинской литературы «Мученичество Шушаник» Якова Цурталаня в переводе известного венгерского ученого-картолога Мартона Иштвановича. Издание приурочено к 1500-летию юбилею этого произведения, украшающего сокровищницу грузинской литературы.

ВСТРЕЧА С ЭЛГУДЖЕЙ МАГРАДЗЕ

↑ Народный университет имени Павла Джавахишвили Каспского района Грузии организовал встречу с известным грузинским писателем Элгуджей Маградзе. О жизни и творчестве писателя рассказывал декан факультета литературы и искусства педагог Т. Шемаберидзе.

Во встрече приняли участие и прочли свои стихи поэты и писатели А. Адамия, Л. Самукидзе, Н. Кемерелидзе, Т. Абуладзе, Г. Карбелашвили, Г. Хоргушанили, Г. Калнашвили.

Э. Маградзе прочел присутствующим отрывки из своего нового биографического романа о Теймуразе Первом, рассказав о своих дальнейших творческих замыслах.

Этого номера

АЛЕКСИДЗЕ Дмитрий Александрович. Род. в 1910 г. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко, профессор. В 1934 г. окончил режиссерский факультет Московского театрального института им. А. Луначарского. Работал в тбилисских театрах им. Ш. Руставели и К. Марджанишвили, в киевских государственных театрах им. Франко и Л. Украинки. В настоящее время — председатель Грузинского театрального общества, заведующий кафедрой режиссуры драмы и телевидения Грузинского государственного театрального института им. Ш. Руставели.

БЕРУЛАВА Хута Михайлович. Род. в 1924 г., грузинский советский поэт. Первая книга стихов вышла в 1944 году. Х. Берулава — автор свыше 20 книг на грузинском и русском языках. Многие его произведения переведены на языки народов СССР, изданы за рубежом.

ДОЛИДЗЕ Георгий Галактионович. Род. в 1934 г. Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Театрального грузинского государственного института

им. Ш. Руставели. Автор ряда книг, в том числе монографий «Ленин и вопросы кино», «Маяковский и кино». Перевел с английского языка на грузинский произведения Марка Твена и Майн Рида.


КОРАНАШВИЛИ Гурам Васильевич. Род. в 1940 г. Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии АН Грузинской ССР. Автор книг «Роль географической среды в развитии общества», «Маркс и Энгельс о докапиталистических формациях», соавтор и помощник по учебнику «История народов Древнего Востока».

ПЕТРИАШВИЛИ Гурам Милентьевич. Род. в 1942 г. Автор четырех книг, критических статей о поэзии. Пишет сценарии для мультфильмов. В настоящее время работает над книгой очерков по искусству, предназначенной для юных читателей. На русском языке публикуется впервые.

РЕВИШВИЛИ Шота Иосифович. Род. в 1919 г. Доктор филологических наук, профессор. Специалист по зарубежной литературе, в частности по истории немец-

кой литературы и немецко-грузинским литературным взаимоотношениям. Автор книг «Немецко-грузинские литературные взаимоотношения» (1969 г., на грузинском и немецком языках), «Эстетический ревизионизм и марксистская эстетика» (1974), «Немецко-грузинские этюды» (1977) и других.

ТАРБА Иван Константинович. Род. в 1921 г., абхазский советский писатель. Печатается с 1937 г. Автор нескольких романов. В стихах и поэмах И. Тарба нашли отражение созидательный труд, дружба советских народов, их героизм на фронте и в тылу, борьба за мир.



ХРИТЕСАШВИЛИ Мария Григорьевна. Кандидат филологических наук. Работает в области литературных взаимосвязей, в частности русско-грузинских. Автор статей, посвященных творческим связям Н. С. Тихонова с грузинской литературой, опубликованных в республиканской прессе.

ЧХЕНДЗЕ Отар Релазович. Род. в 1920 г., прозаик и драматург. Печатается с 1940 г. Автор целого ряда новелл и романов, а также пьес, занимающих заметное место в репертуаре грузинских театров. В русском переводе увидели свет три его романа — «Тени», «Квернаки» и «Подъем и спуск».

Сдано в набор 13 апреля 1978 г. Подписано к печати 10 мая 1978 г. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги 84×108 1/2.

Заказ № 810

Тираж 7.000

УЭ 01635

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
საქ. კ. ც-ის გამომცემლობა